

## МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ



## ПОХОД

### ПОВЕСТЬ

#### 1

На шестьдесят пятом году жизни Иван Басаргин родил пятого сына. Это был второй его брак. Первая жена Ивана Иулиания семь лет тяжело болела, и Иван, разрываясь между домом и тайгой, ухаживал за ней до самого до послела. Когда уже не могла передвигаться — подходил к сидячей, нагибался, она клала руки ему на плечи, обнимала за шею в слабый холодный замок, и он аккуратно вставал-выпрямлялся с ней и, держа за талию, помогал перейти, чувствуя, как шатко, почти волочась, её ноги ищут-перебирают опору, и будто ею шагал. Или обняв сзади, под локти, переступал вместе с ней — в четыре ноги. Потом уже просто носил.

Был Иван до мозга костей промысловиком, а происходил из старинного старообрядческого рода. Предки жили в Алтайских предгорьях, в Шипуновской волости Змеиногорского уезда. Сыны в хозяйстве главная подмога, и когда в 1861 году для переселенцев на Дальний Восток отменили рекрутский набор, семьей двинулись к Хабаровску. Многодетно. Подводами, со скотиной, которая по дороге погибла. На месте, едва добравшись, отправился прапрадед (или кто там) в город на базар за лошадью. Жена, переезд не одобрявшая, наказала: “Путнюю лошадь бери, деньги-то последние”. И вот предлагают ему мелкую кобылёнку, невзрачнейшую, глаза бы не глядели.

---

*ТАРКОВСКИЙ Михаил Александрович родился в 1958 году в Москве. Закончил Московский педагогический институт им. В. И. Ленина по специальности география/биология. В 1981 году уехал в Туруханский район Красноярского края, где работал сначала полевым зоологом, затем охотником. В 1991 году закончил Литинститут им. А. М. Горького. Автор книг “Стихотворения”, “За пять лет до счастья”, “Замороженное время”, “Енисей, отпусти!”, “Тойота-креста”, “Избранное”, “Сказка о Коте и Саше”. Главный редактор альманаха “Енисей”. Живет в с. Бахта Красноярского края.*

Мимо бы и прошёл. Но тут явился ему “старичок в образе Николы-Угодника” (именно так по преданию) и велел кобылку-то и брать. Домой вернулся, жена: “Ты ково привёл!” Мол, не видишь, чо ли, что совсем жидкая клячонка! Того гляди рассыпется. А жидкая-то клячонка столь могучих жеребцов нарожала, что всё хозяйство-то на них и подняли, да так, что “соседы диву давались”. И если возможно провести бережную нить меж трудовой этой матерью-животиной и тихой героинюшкой-женщиной, то на Иулианию-то эта нитка и выведет. Детей восьмерых родила, все крупные, крепкие, только, вот беда, погиб один. А происходили все эти рождения в Сибири, куда семья Иванова отца перебралась с Дальнего Востока.

Обычно староврки статные, крепкие и, бывает даже, мужик, как приставка к ней — выжженный, сушённый, бородёнка ключьями. Зато хозяйка широкая книзу, колоколом юбка в складках — сама основа. А Иулиания не в правило пошла — наоборот, маленькая, хрупкая, грудь измученная — дико, больно представить, как стольких рожала-выкармливала. И вот хрупкая, а от лечения расплнела, лицо, лоб раздуло от лекарств... На лбу даже галочка сделалась, и над ней навалилось футбольным мячом нечто нелепое. Иван жену порой и не узнавал, даже голос изменился. Делалась иногда спокойной и странно рассудительной. Или вдруг рассмеивалась, вспоминая сказанное кем-то третьего дня. И голос делался какой-то надтреснутый и будто важный. Лежала в белой ночнушке, вытянув голую руку, иссохшую до сухой ряби, исколотую до лиловых кровоподтёков под локоть и в приверх кисти. Лежала-лежала, и вдруг запоёт. Голосом прежним, высоким, девичьим. Повелось, что и дети собирались, садились рядом и пели — все три дочери.

*Много есть на свете людей,  
Милых да хоро-оших,  
Только нету мамы моей  
Никого доро-оже.*

Иулиания сначала молчала, слушала, обострялась лицом, глазами блестя, шевелила губами, а потом и сама начинала подпевать. Дочери пели, как любят маму. Прямо при ней пели, в глаза её солёные погружали песню, ни себя, ни матушки не боясь и заранее побеждая время. И песня чувствовала, как встаёт наконец во весь рост её правда, и лилась, поражённая и чистая, будто пред вечностью. Бывало, и слёз не таили, и старшие сыновья заскорузлые прятали глаза, подпевали басами и, не попадая, не вырезая линии, не выводя, как не выводит изгиб наличника пила с крупным зубом. Только Иван не выдерживал пронзительных этих спевов и, отойдя, долго стоял лицом к образам и громко шептал. А старшая дочь Ирина держала мамочку за кисть, холодную, исколотую до кости, и все вместе пели о маме, а мама — уже о всех матерях.

Лечиться Иульянюшка отказывалась, словно хотела без поправки принять испытание. Родные заставляли, уговаривали, а она если и поддавалась, то чтоб не огорчить. Вроде бы, невозможное сочетала: болезнь принимала как Божью волю, но пока дышала — не сдавалась до последнего. Поражала тихой своей силой — врачи говорили, что с этой болезнью так долго не живут, а она жила, и все дивились, воодушевлялись, и почти верили, что сила эта перенесёт через болезнь. А уж молились как! Когда ещё на ходу была, ездила по святым местам. Как-то я встретил их на зимнике: Филипп, старший сын, на “сурфе” с прицепом, у которого отвалилась водилина. Копался, лёжа, в снегу (“Да, всё нормально, управлюся”). А в тепле салона домашне сидела маленькая тётка Иульяния в толстом платке и обильной складчатой юбке.

Потом уж не до езды стало. Кому-то со стороны, может, и казалось — какая уже разница — день она проживёт лишний, месяц, год, всё равно, мол, один исход. И даже, мол, чем дольше, тем мучений больше — и ей, и всем. А Иван бился за каждую её секунду, не считался ни с какими затратами — лишь бы спасти. Но не спас. И ушла навек вся мелочь неурядная, пустячные обиды, которыми бесишко так срамотно застит глаза. И остался по гроб жизни образ — смиренной и непобедимой женщины.

У Иулиании пролежни начались, и он мыл её, и это частое мытьё уже каким-то важнейшим делом стало. И чем больше он ухаживал за ней, чем беспощадней проламывая все разновидности мелких стыдов, тем легче, честнее и слезней ему становилось. Когда, придя с промысла, застал её ещё худшей, сдавшей, неузнаваемой — выскочил набраться сил: рыдания задушили. Страдание было общее, непереносимое, и сыны глядели на него, беспомощно открыв глаза, и эти глаза только добавляли муки и неоглядности. Настолько было её жалко, настолько невыносимо сознавать, что она больна, а он здоров, что спасался подмогой — чем больней — тем спасительнее. Нырял в горе, и оно пёрло в уши, нос, и чем больше себя не жалел, тем сильнее Бог помогал. На охоту ходил — не сидеть же при ней, поджидать кончину: ещё хуже. Да и жить надо на что-то. Помог Господь — ушла в Рождественский пост, когда все дома были.

Иулиания стоит на послесвадебной фотографии. Платок в белый горошек треугольно ширится от макушки на плечи твёрдым щитом. На шее подколот под подбородком и на грудь ложится плитой. В платке как ромбик лицо — древнее, крестьянское, не загорелое — прожженное, как с фотографий старинных, на которых: переселенцы, такой-то год, Приамурье. Или военнопленные... Брови домиком — выгоревшие, выжженные добела, и скулы-яблоки особенно круглы, выпуклы — снизу объёмно темны, а сверху так же белы, как и брови. Такие лица немного страдальческие, обречённые. Зато щёки при улыбке крепнут, круглятся яблочко, и улыбка под ними ярким полумесяцем. И у матери её такая же улыбка была. Так они и стояли с двумя улыбками — когда сватался: двумя полумесяцами сияющими... Мир праху твоему, Иульяныюшка. Да простит тебе Господь согрешения вольныя и невольныя и дарует Царствие Небесное. И нас грешных прости, что не уберегли.

С годами Иван с возмущением начал обнаруживать и в себе неполадки, хотя и довольно обычные для возраста и образа жизни. “Да не должно быть такого! Сердце должно чётко работать... Рэз-рэз”, — давал он такт сжатой в кулак рукой. Если б можно было — сам бы себя раскидал, перебрал, все подшпипники смазкой забил бы — не глядя пол-лета бы выделил и в сарае на холодке бы копался. В коленки тавотницы бы поставил. “И локти прощиприцевал бы, хе-хе. Всё работать должно чётко”. “Должно” было его любимое слово. Замечательно, что в прежней литературе тоже звучало это “должно”, точнее, “дóлжно”, и означало зависимость героя от общественных правил. Здесь же “должно” несло другой смысл — знание жизненного природного закона, трудного, сильного и строгого, как отвес. Он и женился поэтому, зная бесспорно, что нельзя человеку одиноко жить. Что ненормально такое и дико. И все хвори от этого, и особо душевные.

Ездил летом на грязи. Широкий, приземистый. Очень бородатый, почти по-звериному. Борода с пол щёк. Чёрный костюм в полосочку. Руки крепкие, недлинные, рукава до полкисти. Старообрядцы только в книгах великаны — в тайге да на земле невысокий ценится, и важнее крепость и чтоб “центр тяжести” пониже. Говорили, что в лучшие годы Иван взваливал на плечо столитровый бочонок с бензином и пёр на угор. Как гуляет жидкость в ёмкости на плече, не каждый знает, но поверьте — шатает пьяно, как гиря вразнойой с шагом болтается.

Оно правда — не нужны длинная спина и долгие ноги. И в лодке стоять труднее, шестом управляться. И невод тянуть. И сено метать. И на лыжах. Если Ивану добавить ног хотя б ладони на три — то в другой бы калибр ушёл, аж страшно: богатырь с картины. Тем более и лицом силён, выразителен, до ликовости. Черты как подкаченные. Живописцы работают так. Или скульпторы, литейщики. Лоб, брови, веки верхние — всё выпуклое, тяжёлое. Так что, если б подросток в ногах — у кого-то в искусствах точно бы было.

В жизни, едва начинал говорить, оживали глаза морщинками, шевелились усищи, открывая сломанный зуб и выступающую челюсть. Особенно она выдвигалась, когда ел кедровые орехи, в кулак собирая скорлупки. Орешек раскусывал всегда чётко пополам, и очень аккуратный выходил “отвал”.

Не то что бывает, измельчат-испюнявят: тошно глядеть. Орехи всё время грыз. И осенью, когда по посёлку ходил-собирался, и даже в городе, черпая из кармана пиджака.

Борода у Ивана была очень красивая, крупноостистая. Делилась на крупные твёрдые языки, завивы, как на живописных кистях, которые стояли смято и так подсохли. И усы — тоже очень объёмные, высокие. Фигура коренастая, в тазу чуть подломанная, корпус нависающий, и быстрая походка.

Как многие староверы — стоял на самой границе с дикой стихией. И чем меньше общался с миром, тем беспощадней была его битва на самом шве с тайгой, на стыке плит, где дымилось и выбрасывало лаву первозданного выживания. По сравнению с его таёжным бытём охота обычных охотников была гостеванием. Они и жили долгое время не в посёлке, а на заимке среди тайги, и то их топило, то шатучий медведь-смертник наваливался по осени, именно когда хозяин в тайге, а дома лишь бабы с детишками, да старик отец. Одного ребёночка так и... Ой, горя сколько было. Может Иулиания этого и не вынесла. И как иначе было жить? В посёлке, где мат, пьянка да курево? Да телевизор срамной этот? Да рынка узаконенный братобой?

К староверам отношение разное, но сильное: образованный класс, особенно писателя, — поэтизируют. Которые построже, правда, попрекают за раздрай с государством. Народ простой тоже не всегда принимает, отвычка от веры сказывается, но более другое: для староверов главное уклад любой ценой. И расчёт на себя только. И вот причуда: чтобы защитить и сохранить нематериальное — приходится вступать с материальным в особо плотные, даже плотские отношения. И у местных мужиков упрёк один: больно рьяно к природе относятся: дескать, “гребут всё”, “там покончили зверя, на другое место переехали — и трава не расти”. И многодетность пугает, и трудолюбие нечеловеческое — с такими не потягаешься.

— Ну у них же своя дорога! — скажешь.

— Своя-то своя, — ответят, — да больно уж мимоходом, сквозом к нашей идёт. Для себя живут. А мы для их... так — обстановка.

— А то, что почти в нетронутым виде старинный уклад явили? Это тоже для себя? На всю б страну такой верности... обстановку!

— Да мне это, знашь... слова красивые. А вот там у Афонькина рúчей сохат стоял, как раз Басаргины проезжали и...

— Ну что “и”?

— Рожки да ножки. Вот что!

Да понятно, сохат сохатом... Но никогда дорога старообрядцев не сходилась в такую близь с остальным Русским миром, единясь в чутье к чуждому, “анчихристову”, “наскрозь” видя и куда мир катится, и кто... катит. И куда ни шло порицать старообрядцев, когда вера на Руси мерой была, а теперь, в катастрофу-то уж и растратно, пожалуй. А Иван был из обычных людей. Для него его староверство — семейная ноша и честь. Он и нес их как защитник, и если Иулиания была свечечкой, то он — её ладонями. Трудовыми и верными.

Ладони эти, как клык у трактора, могли ещё не одно столетие мерзлоту пахать, если б не остальные запчасти. От трудовых перегрузок начинало поколачивать в груди и голова кипятком наливаться. Мириться с этой нелепцей Иван не собирался. Никогда не болел, и был настолько ладен и умён в движениях, что ни разу пальца себе не порезал. У сыновей, правда, по-другому выходило. Перебор силы вырос-накопился, видимо, за отцовской широкой спиной — мясистые удались не на шутку. И когда пёр самый рост, но башка ещё нагулявшую мышцу не обуздала, то себе руки-ноги рубили, под лёд ухали, а уж одёжу нахратили мгновенно, до сеточки протирая на мышцах. Старший Филипп на раз выдирает стартёр у “бурана”, ещё и ворчал на конструкторов, что “сопли лепят”. Ещё на “вихре” ездил, сидел — одна нога в лодку, другая — к мотору. Перепутал беспричинно скорость и включил заднюю. Мотор подлетел и разворотил зубчатый венцом ляжку. В рямушки... Жил Филипп, правда, в другом посёлке, а при Иване по старшинству первым шёл Тимофей. Его силища как-то особенно опасно гуляла.

Вытаскивали по осени лодку-дереваху. Тимоха пёр по заледенелым камням напитанную водой и промёрзшую слань — дощатый подножный щит. Придавленный сланью, он ступал мощно и порывисто. Ноги богатырски буксанили, тело крутанулось коленвалом, шапка слетела. Тимофей не устоял, упал, в падении пытаясь могуче извернуться, почти устоять. Накрыло по голове до крови сланью. Отец рванулся, но не успевал — всё нарочито медленно происходило, кренился, извернувшись, Тимофей, и падала, накрывала открытое темя сланина... До кости белой садил бошку. Аж тошнило. Лежал на нарах. Отец только головой качал и про белое не говорил. Промывал бошку перекисью.

Зато и избушку за два дня собирали. Устраивали мгновенный лесоповал в несколько пил. Те, жесточась, ревели, одновременно падали кедрины, тут же от них отчекрыжевались ветки, всё отмерялось, кряжевалось и свозилось снегоходами до площадки. Падающие кедровые словно чьи-то машущие лапы были. Творилось невообразимое, казалось, какой-то огромный зеленоватый медведь отмахивался от белёсых пчёл снегопада. Так же и сбор стопы шёл — казалось, бревна сами взлетают на сруб с гулким стуком. Потом братовья молча пили чай. Чередовали порыв со своего рода даже приторможностью. Как-то раз ехали на берег и попросили помочь столкнуть лодку — тут же пришпорили мотоциклы и едва не с гиканьем помчались к берегу. Я подошёл. Поплевав на руки, взялись и мгновенно столкнули корабль на три тонны груза. Потом сели на сосновое брёвнышко. Тимоха по сырому песку палочкой ковырял, а Стёпа с Лавром камешки кидали в воду. Даже Иван пожимал плечами: “То работать с огня рвутся, то с места не сдвинешь — как пень наехал”.

Промежутками были молчаливы. Даже будто замирали. Когда подъезжали к берегу и вылезали из огромной деревяшки здороваться — молча маячили за спиной отца. Как-то мы рубили базу. Они поднялись и пили чай за нашим столом, где среди прочей еды был увесистый пласт сала. Тимофей долго на него смотрел, а под конец чаепития произнёс единственную фразу: “То-олстый кусок сала”.

Эта мёртвота иногда и раздражала Ивана — женат только Филипп был, а Тимоха со Стёнкой всё ждали чего-то. При том что дочери замуж вышли кто в Амурскую область, кто под Хабаровск. Невесту в старовойской среде не так просто найти, свои тонкости, на которые отдельные силы нужны.

Детей, не считая нынешнего, последнего, было семеро. Четверо парней и три дочери. Сыны всё крепили и ширились и телом, и планами, и каждый так разрастался по тайге путиками\*, что уже требовались новые избушки. Рубили очередную. Лес заготовили по снегу, а потом заходили пешком в начале весны кидать в сруб. Подстилка уже отопрела, ударило тепло. Ярко-зелёный мох, кочки, по кромкам налитые солнечным светом, бочажины с бурой водой. Жара. Комар в солнце жёлто, крупно вьётся-блестит. Сруб скидали быстро. Но от жары ли, духоты, от ходьбы ли, брёвен, вдруг и застучало в груди. На обратном пути отдыхал, ржавец из болота пил, качал головой: “А ведь как саврас бегал”. Потом неполадка прошла, как ошибка.

А потом снова подступило — да не одно, а скопом. Взяли в наглуемую осадку, доказав, что не ошиблись, что его черед отбиваться. Но не на того напали, даже сыновья говорили, что тятя в свои шестьдесят “ишшо вихрем вьёт”. Он-то собирался жить и трудиться в полную отдачу и двинул в город. В ремонт. В своём костюме, в “пальте”, в выдровом картузе лохматом. Картуз высокий как кастрюля, да ещё и с козырьком, особенно лохматым, где ворс на перегибе топырится. Интересно, что даже в костюме умудрялся тайгой пахнуть. Смешанным запахом костра и копченой рыбы. Дочка Илочка, ещё маленькая, когда зашла впервые в коптильню, пискнула: “Папой пахнет!”

В городе начались обследования. Кабинет. Койка холодная. Аппаратура. всё технически-белоснежное... Электронное... Экраны, графики. Огоньки.

---

\* Путик — линия ловушек с затеями.

Лежал, облепленный проводами, присосками, которые не липли к его умазанной специальным гелем волосатой груди. Отваливались, отлипали, отскакивали, как лягуши. Шерсть привставала, расправлялась вольнолюбиво. Сестра даже подбривала ему грудь. Сначала глядел неодобрительно. Потом, правда, на балагурство перенаправил...

Аккуратная обособленность каждого обследования, все эти экраны, белые панели, парадная электронщина создавали вид, будто и человеческое тело можно подстроить. Что оно тоже из запчастей под номерками. Из блестящих трубок с резьбовыми разъёмами, из диодов, да лампочек. Что нет внутри кровавого, природно-тонкого, жильного, скользкого, неподвластного.

Иван вроде таёжный, смущающийся, дикий. Но ничего подобного — везде как рыба в воде, ещё и перешучивается с сестричками, смешит их. Врач показал тонометр давление мерять: “И сколь стоит така “лягушка”?” (“О, недорого!”) И уже думал куда б её приспособить, “резинову лодку” подкачать. Было наконец главное обследование. Возмутился, когда сестрички сказали: “Ну чо, деда запускаем?” Я т-те устрою деда! Сильно ничего не нашли, сказали поменьше напрягаться в работе и не нервничать. Ну а какие есть неуладки — те, мол, все по пробегу. Вот таблетки.

Нервничать поменьше он не мог. Дело было после буржуазного переворота, и другие охотники как-то очень быстро признали силу новых законов, урезавших права и значимость охотника-промысловика. А он не мирился. Ночами не спал. А суть была в том, что если раньше охотник был нужным и даже исключительным и оберегаемым героем-работником, то теперь он будто исчез с повестки, и оказался не хозяином участка, а одним из многочисленно-возможных его пользователей-арендаторов. И могло случиться, что рядом с ним начнут толочься такие же равноправные хозяева тайги: лесодобытчики, спортивные охотники, рыбаки, туристические деятели... И не пикни. У тебя одно прописано: добывать в такие-то сроки и там-то и там-то соболя. Всё.

Пимен, сосед с другой речки к югу, рассказывал: “туришныки” прут на катерах с пропеллерами, лагеря ставят в его любимых скалах. Высаживают туристов: толстые неуклюжие мужики в бархатных камуфляжах со спиннингами. Рулят делом всё какие-то бывшие главы районов, поднакопившие капиталу. Не шкни! Мы же рабочие места даём! Это чо, твоя что ль речка? “Моя! В том-то и дело, что моя! Что это мой дом! Я здесь с важным камнем в обнимке!” Ага. Щас. Документ покажи. Ты чо, нерусский? Мы все тут граждане! И, слышь, где твой лесобилет на избушку?

Больше всего ложь бесила, передёргивание. Пимен с карабином стоял, над бошками стрелял. Чуть не засудили за превышение. Бог с имья... А то опять лягушамы облепят... Грудя оброют... Тих, тихо... Потом Пимена ещё и прищучили в посёлке “коло рапорта”: “Ну чо, мохнорылый? Чо ты там стволом махал, бородой тряс, поди, сука, сюда. Посмотрим, поможет тебе Боженька? Так отпинаем, только вякни потом на речке... Ещё и инспекции спалим, как ты оленей без лицензии бьёшь”.

Досадно и за трудовых мужичков-охотников было. Один побился, причём более с самим собой воевал-спорил, и смирился. Но не потому что слаб, а потому что вот: “Не могу к людям как к врагам относиться”... Оно так и было: душа народа не могла смириться с тем, что власть сталкивала лбами мужиков, играла на низких страстях, марала человека, и тем будто себя оправдывала, перевязывала всех кровью розни. Другой — крепчайший охотник, сосед уже Пимена — рассказывал, как на острове обосновался возитель туристов и что там всё “так это капитально. С туалетом. И там унитаз такой, я тебе скажу...” — и подвыпятил губу почти с одобрением, признанием силы. Гордыня не позволяла возмутиться — окажешься в положении терпящего, а такое несовместимо с привычкой к самостоятельному ладу, нарушает и покой, и престиж. А толчок этот белейший с бачком действительно стоял на чудном галечном острове на реке посреди гор — его хозяева куда-то сдрызнули на время. Будку своротил ветер. Унитаз сиял, и Пимен изрешетил его с карабина. Вот вся и отместка.

Новые “напастя” навалились взамен прежних, и надежда на спокойную жизнь рухнула вовсе. Охотничьи участки и ране были под ударом: в ту пору

вовсю искали нефть и напускали на тайгу сейсмиков. Те рубили профиля, и по зиме, когда “проколют болота”, шли по ним вездеходами и тракторами, таща установки для прощупки земных потрохов. Целое вертолётное полчище на них работало, правда, взамен за беспокойство и населению упрощая, бывало, перемещения.

У Ивана появился аппарат давление мерить, “датчик” этот. Нелепо впёрся в таёжную избушечную жизнь. Иван сидел у стола на нарах — могучий, коротконогий, бородатый. С бессильно перетянутой рукой, со шлангом свисающим. Аппарат жужжал, набухла на руке круговая подушка. Вид выражал: вот — всё терплю ради тайги и работы. А к таблеткам никак пристрелиться не мог — то уронит давление, то поднимет. То обвысит, то обнизит.

## 2

Был особо трудный год. Осенью, как всегда, заброска по реке. Огромная лодка с керосиновым мотором, который заводился на чистом бензине, а потом переходил на керосин. У Ивана он переходил на арктическую, с лиловым отливом соляру, словно беря пример с хозяина, который начинал день с утреннего правила — как с кристального летучего бензина. Потом шла соляра жизни.

Возможно, читательниц этот абзац и отвадит, но об Ивановой лодке нельзя не сказать отдельно. Сзади вместо обычной сидухи — кресло от японской легковухи: для спины спасительно, иначе отламывалась, когда вставал после нескольких часов дороги, будто окостеневал какой-то угольник внутри. На кресле же с “артапедческой” спинкой отлично сидел, разгрузив поясницу. Поза была даже царственная, монументальная, вдобавок кресло возвышалось выше обычной сидухи-дощечки, где будто уютятся при моторе. На корме лодки — выносной “складчатый транец”, который поднимался и опускался на системе параллелограммов из железного уголка, эдакий складной куб. Такую бы складчатость Ивановой спине! Управлялся транец огромным рычагом “на-подвид” ручника у машины. Лодка была настолько большой, что без груза мотор хватал воздух. Тогда транец опускали, а с грузом, наоборот, поднимали. Проходя над камнем, Иван, не меняя царской посадки, очень быстро срабатывал рычагом и задирали мотор — тем же жестом, как на конных граблях валок вываливают. Сыны переглядывались и живо лыбились глазами. У них, само собой, тоже лодки были, но поменьше и попроще. Когда вода позволяла, курсировали и вверх, и вниз. Вниз целый рейс пустых бочек — лежали поперёк стопками.

После Филиппа, отдельно живущего, шёл Тимофей. Потом Степан. Потом Лавр. На что Тимоха был крепкий, но Степан, как бывает с братьями, угадал ещё здоровей. Тот в свой черёд проходил полосу приладки, когда “мышца гулят, а тям нуль”. Еле находил слад с руками-ногами, — очень те норовили “собственну линию” угнуть. То зажёвывал цепью от пилы штанину, то ногу разрубал через сапог, то резался ножом. Раз в лодке угадал на топор, который, видимо, ещё и положил как попало. Нёс мешок с мукой, наступил, а тот приподнялся острейшим лезвием — и распластал ступню.

Пошли со Стёпой настораживать хребёт. Помаившись вечным вопросом “тащить — не тащить с собой лыжи” — не потащили, снег не сильно напал. Шли с насторожкой, всё больше нервничая: в той стороне горело летом и изводила неизвестность — хватил ли пожар избушку или миновал? Ближе к избушке мрачнели — язык гари всё-таки ушёл в заветную сторону — приплы к заснеженному пепелищу. Ночевали у костра. С сушняком теперь “проблем” не было.

Проснулись потемну, подстывая. Чаю попили из отождённого мягкого чайника. Пошли. Тёса почти не осталось, лес попалдал, лесины с капканами тоже. Тесали: по угольному, чёрному, крошащемуся — до белой костяной мякоти. Ствол из чёрных кубиков. Крошка сажная летит. Потное лицо Стёпы, перемазанное чёрным — вытирал изгвазданной верхонкой. Самое убийственное, что гарь через пятьсот метров закончилась. Дошли до следующей

избы. Но, видно, чем-то прогневили Господа Бога: медведь разобрал крышу, всё повыкидывал из избышки. Присыпанную снежком, нашли посуду, спальник, который Степан поленился в своё время в бочку убрать, теперь — закисший и смёрзшийся с жёлтыми кедровыми иголками пласт. Избушка была очень важная — на неё особо завязывались путики. Степан ещё пуще расстроился — хозяйство “евонное” было. Утром полез на сруб и, неловко повернувшись, упал и сломал голень — нога попала на бревно. Незадолго до их прихода прошла оттепель с дождём — верхний ряд был в пупырчатом льду. Но и не во льду беда — разнервничался парень. Сплошная мышца, падал тяжело, хорошо не головой. Лежал, стонал. Батя наложил ему шину из соболоний правилки, сделал волокушу из досок, разобрав нары. Загнул кусок железа, прибил и впрягся. Шли трое суток до “Центральна зимовья”.

У Ивана и была уже начальная грыжа, но только нацеливалась, а тут на третий день вылезла вовсе. Была как кап на берёзе. Только тот твёрдый, как кость, а это мягкая. Остановился, костерок запалил. “Батя, чо?” “Да неладно”. Раньше ныло, но как-то ровно и несильно, а тут озверела. Да ещё снегу подкинуло — бродь такая, тридцать раз пожалел, что лыжи оставил.

Присел дух перевести. Над костерком поднялся, пузо схватило. Руку под штаны сунул, кап помял, выматерился аж, прости Господи. Мнется, а назад не лезет и болит. Чайку хлебнул, вроде ничего. Впрягся в волокушу, протащил километров пяток. Слабость, пот холодный. Остановился. Распрямился, плечи разогнул и... согнулся: вырвало, голова кругом, ноги подкашиваются, капли со лба, мотор колотит — как в разнос пошёл. Присел. Подышал. Снегом рот и лицо утер. “Батя, чо?” “Вроде отпускает”. Привстал, зубами поскрипел, напряжился и поволок. Терпел, пёр потихоньку, так до Центрального Божьим духом и дотащились. Вызвали санзадание, увезли в район обоних. Из района Ивана направили с грыжей в край. Там сначала мурьжили — не та свёртываемость крови, ещё и давление полезло. В конце концов прооперировали, хорошо прошло. Наркоз местный был, но не сказать, что уж совсем заморозило, бывало и доходила резь, так что лежал потный, и медсестричка-практикантка, девчонка совсем, круглолицая и синеглазая, стояла в головах и гладила, почёсывала ему висок.

Никаких нагрузок сказали “два месяца минимум”. Ни таскать ничего нельзя, ни пилить, ни ворочать, ни пешней долбить. И на “буране” — в наледь врочаешься и конец. Стояло самое начало декабря. И Иван решил на один поступок.

После ухода жены он прожил семь лет. Сыны росли, матерели, вызревали каждый своим неповторимым, заковыристым строем — как бывшие сажены ветвятся, узлятся, разрастаются — и так же разрастался между ними и отцом вольный зазор. Оно и должно так быть, а всё равно без жены как в полдома жить. Только трудом и спасался. А работа, как дом с печью железной — пока топится, жар девать некуда, а по ночам выдувает.

У староверов женитьба — целое дело — близкородственные браки под запретом — строго-настроено до седьмого колена. Не то вырождение. Мало того, ещё и запрет на “родственников по кресту”: нельзя жениться, к примеру, на крестнице и даже родственнице крестников. В девятнадцатом веке сложно было и жениться на невесте другого согласия.

Иван писал родне на Алтай в Уймон, в Курагинский район на “Тридцатые озёра”, в Туву на Малый Енисей в Сарыг-Сепский район, в Ужеп, Эржей и Чодураалык. И даже в Хабаровский край писал на Анюй и на Амгунь. А потом вдруг будто само всплыло Забайкалье, Бурятия, Тарбагатайский район. Большой Куналей. Что есть на выданье женщина молодая, Наталья. Он с ней и списался, и, рассказав о себе, сообщил, и что до лета занят, и что напишет.

Наталья была из семейских старообрядцев, или так называемых “поляков”, чьи предки отступили от гонений на территорию Речи Посполитой. После раздела Речи Екатерины переселила “польских посельщиков” в Даурию. Мол, распря прощается, отвезём и только работайте. Для устройства их быта даже была в 1766 году учреждена “Хлебопашств и поселения Контора”, руководимая плац-майором Селенгинского гарнизона Налобординым.



“Семейскими” польских “выгонцев” окрестили местные — в отличие от здешних порой каторжных, одиноких, беспутных — “поляки” приезжали семьями, и зажили крепко, чистоплотно и прижмисто. “Забайкальский мужичок вырос на морозе, летом ходит за сохой, а зимой в обозе”, — говаривал частушку отец, тоже поподавший России, проживший бескрайнюю её версту.

Многие боятся в чужие края заглядывать: а как другое место богаче и приглядней окажется, чем моё, прикипелое?! Было чужое, стало твоё. Было богато, да оскудело. Лишь душа не оскудеет, открыв, насколько образ красоты и бескрайности несоизмерим с твоею долей. Лишь переполненное сердце способно к покою и бескорыстному восхищению, тогда и каждый хребёт не дразнящею далью откроется, а подтверждением единого откровения...

Я знаю наверное, что необходимо увидеть абсолютно все места Сибири и Дальнего Востока, прикинуть ухом к каждой горе и к каждой реке устами. И увидя каждого человека, так раздать границы дома, чтоб не осталось на душевной карте и белого облачка.

Так и с Иваном.

А... давай полечу! И через секунду огорошило: как можно мешкать было? Ведь ещё минуту назад сама возможность решения была как на том берегу Байкала, за волной да туманом. Такое бывает. Год за годом живёт под сердцем мечта, и так недосыгаема, что по слабости иначе как капризом и не зовешь её. А потом доживаешь до дня, когда ясно: теперь или никогда — и... ещё кусок жизни прирезал. У Ивана вся жизнь из таких прирезок и состояла...

В самолёте место удачно оказалось у окна — очень хотелось увидеть Байкал. Винт медленно повернулся, зачастил, сабельно рябя, и превратился в сквозистый нимб с туманностью к корешкам лопастей. Колесо шасси запрыгало, глотая бетонные стыки, а после взлёта, так же живо вращаясь, легло под створки. “Как в гроб...” — подумал Иван.

Староверы и вроде на самом шве-стыке сидят, с диким миром без прикрытия говорят, но и в дороге, в портах-вокзалах в своей тарелке. К разведкам, переездам да гостеваньям привычные. Им огромность Сибири знакома и посильна, и путь над ней как часть работы, судьбы, и не смущает душу, как многим, припаянным к одному месту. Но едва Иван оторвался от земли — и в нём самом будто шов разошёлся. Снова в груди неладное разрослось, засбило, подёрло, и шатко стало — был бы на земле, хоть прилёт бы, обнял бы, родную, костерком бы тронул, водой горной окропился. А тут ушла из-под ног, в просветах облаков едва отсквозила, и вот уже и отгорожена волнистым пуховым платом. И так заколотило, замутило, крикнуло на всю душу: “А вдруг помру!?! Прямо теперь и помру!”

От таблетки противная горечь и стынь во рту. Молитву пошептал, и облачка тогда чуть проредились, и тёмно-дымчато засквозила тайга. Но тяжко: в самой душе неладно, не готово, не дошло что-то. На мысли он не расплетал это плотную заботу, но едва выдерживал. Оно многим знакомо: поначалу думаешь, что путь в вере, который по завету вслед предкам бьёшь по жизненной броди — твоя молитва, разговор, обращение к Господу Богу, к Богородице, Николе — это и есть и опора, и нить. И ждёшь, что с годами разрастётся она до светлой спасительной жилы, светопровода, ведущего в жизнь вечную, рядом с которым “хоть чо” не страшно. И что Божья благодать по самой уже выслуге лет так и засеется с неба.

Но во здравии можно сколь угодно рассуждать о вере и детвору поучать, а когда припрёт — то и сам как дитё. Вот и в небе уже, а опереться-то “не о чо”. И мысли-то там, на земле. Как сыны без него? “Чо имя оставил”? Едва подумал о детях — и полегчало. А вот мать не уберёт... И потяжелело. И подумалось: грех думать об оставленном, крепить себя земным. Не таким трап во вечность мерещился. И всплыли слова, не помнил чьи (пророка Исаии), что человек “должен возненавидеть временную жизнь, и благодать Божия скоро ущедрит... всеми... дарами” его.

Иван был простой мужик, твёрдо усвоивший хранить семейный устой хоть ценой жизни. Живущий землёй и замороженный ею. Не старец, не богослов и не наставник... Бывало, и перебарщивал с добычей, рвал с природы, и денег рыскал на выживание, но не жил срамно, не предавался ни суете мира, ни страстям бесчестия, ни плотским удовольствиям. И как ни силится, не мог возненавидеть эту прекрасную и временную землю, созданную Богом, и только говорил: “Прости, Иульянюшка, и Бог простит! Прости меня, Господи! Прости и помоги!” Ему бы впору Василия Великого вспомнить: “Настоящая жизнь вся предоставлена трудам и подвигам, а будущая — венцам и наградам”...

Крепость и опора снова замаячили, когда подумал о сыновьях, дочерях. О том, как может облегчить им жизнь, что им уже оставил, что вообще оставит нутряного и внешнего там внизу под жиденькой ватной подстёжкой. И оказалось, чем больше набирал этого оставленного, подбивал список, тем легче становилось. Иван жил наитием, но если б умел, рассудил: “Выходит, чем дотошнее там под низом столбю, тем крепче и в вечности... А ведь оно грех, поди”.

Помаленьку придышался как-то за мыслями, вспомнил про Байкал, который уже на подходе. И так хотелось Батьку увидеть, аж до слёз. Но чем ближе подлетали, тем реже гляделась земля сквозь протёртую ватную подложку, и сильнее тянуло с моря извечной его облачностью, густой, плотной, молочно-набухшей. И было непонятно, где летят, и когда точно ждать. Иван уж отчаялся, как вдруг приоткрыла чья-то рука окно в белой вате, раздались рваные, медленно клубящиеся края. И явился горный серо-штриховой байкальский берег: в самом сходе к воде, и сама вода — тёмная, в морщинку, в кромешную синеву. Едва открылось в великолепии и совершенстве — в ту же секунду скрылась в клубящемся хлопке.

Дальше сплошь белое, только на Бурятской стороне к Улан-Удэ, по-старому, Верхнеудинску, облака расступились, и открылась присыпанная снежком жёлтая степь и горы вокруг. Материковое азиатское солнце светило ярко и незыблемо, и дымы из труб стояли особенно вертикально.

Колесо коснулось полосы, несколько раз подпрыгнуло, пружинисто сминая резину и высекая наждачно-белую пыль, вмиг сносимую ветром. На обратной тяге грозно и опористо гуднул морозный воздух в лопастях. Наконец винт остановился и в налётшей тишине чуть крутанулся — сработал назад — расслабленно и облегчённо. Иван перекрестился и отщёкнул ремень.

Маленько мутило. Но другое заботило. Обычно вырывался из болезни, как из странного и страшного сна, с детской радостью. А тут новое ощущение: вышел как предатель, не решив дела.

Даурия — это и Бурятия, и Читинская область, включая запад Амурской. Обычно Забайкалье представляют по черно-белым архивным фотографиям, да по завораживающе-дивной песне “В далёких степях Забайкалья”. Песня есть песня, но и та оставляет впечатление какой-то свербяще-тоскливой местности, откуда поскорей бы убраться. Фотографии же — нечто угрюмо-серое, с бараками и низкими сопками вдали. “Петровск-Забайкальский, кладбище декабристов”.

Так и будет, если в один прекрасный день не решишься, как Иван Басаргин. Тогда и обступит цветная Бурятия: несусветные сопки с кудрявой накипью скал, с сосёнками, волнистая степь. Деревни с рублеными домами ярчайших раскрасок. Скачущий вдоль трассы всадник, потемнелый от солнца. Отары овец и коровы на асфальте.

Ехать предстояло в Большой Куналей, вёрст семьдесят от Верхнеудинска. Добрался до автовокзала. Кафе “Слон” английскими буквами, кафе “Поедим — поедим”. Тут же поздравление с Белым месяцем: “сагаалганаар”... “Мне в Куналей”. “В какой?” Оказалось, что ещё есть Малый Куналей. “Туда через Мухор-Шибирь и Шибертуй”. Ладно, в Мухор-Шибирь в другой раз сшибертуюм...

Доехал до Большого Куналея. Дома рубленые, ладные, сами брёвна красные — охрой ли, жёлтой ли краской, зелёной. Где в лапу рублено — зашитые тёсом углы. Наличники белые, синие, зелёные, коричневые — кружевные. Ворота тоже разрисованные. Но главное бревно: в густой краске

они как не деревянные. И несусветно добротны, круглы, бокасты. Или наоборот: особенно деревянные — как городошные фигуры. Или огромные игрушки — детский город для богатырей. И опять будто не из дерева — из пластика цветного, до того плотны и ярки. Нигде такого не видел. Крашено стало вроде как в двадцатом уже веке. “А пошто? Под краской не дышит же”. “А семейские сильно чистоплотные были — по краске мыть легче”. Понятно, что бывалого человека на цветность не взять, но глаз радовался.

В начале XVIII века основано село. На заметку: теперь Большому Куналею дадено звание самой красивой деревни России. Неподалёку село Бичура — там самая длинная деревенская улица в мире — двенадцать километров. В Бичурском районе как раз и Малый Куналей. Куналей, как ему объяснили, происходит от бурятского “складка”, “сборка”. Большой Куналей также знаменит семейским хором.

“Где здесь Рыжаковы?” — “А какие?” — “Ксения, да Наталья”. — “Да прямо, потом свороток, потом зелёные ворота”...

Изба малиновая, звездообразные трещинки торцов тоже покрашены — кажется, и нутро бревен сочно-малиновое. Наличники, ставни зелёные с жёлтым. Карнизы с пропильными подзорами... Ворота зелёные с рисунками. Дверь мощная с кольцом крутящимся, латунным. Для верности ещё кольцом грохнул по латунной пластине, чтоб по двери отдалось. Во двор зашёл. На крыльцо поднялся. Ну, с Богом...

Звонкий голос ответил: “Да!” И тут же смутилась, покраснелась. Убежала, потом вышла. Мать аж головой закачала: “Вишь чо... застеснялася... Такая вот и ешь”.

Наталье тридцать девять лет было тогда. Лицо... Как сказать? На лице не иначе как покров, по которому мгновенно отличишь староверку от любой самой разрусской мирской женщины. Что-то такое глубокое... и светлое, и твёрдое, из которого ясно, почему не решится рука этот свой Богом выписанный лик подправить, подчеркнуть или поддурманивать. Какая-то первозданность, чистота, делающая даже и крепость нежнейшей. Глаза крупные, навывкате. Прозрачно-серые, родниковые. Губы чуть припухлые. Большой подбородок. Руки полные, сзади от локтей и выше в мурашечках. Ходит быстро, увесисто. Платок вокруг головы повязан, и узел сзади, немного сбоку. И статья-то вроде широкая, основательная, но такая нетронутость, как у снега некатаного. И то ли от волнения, то ли отчего — часто-часто смаргивает. По влаге глазной веки ходят мягко, податливо. Ресницы длинные, глаза большие, выдаются, и смаргивание крупное, крылатое. Но больше вниз смотрит.

Кожа от природы белая — есть такие староверки, загар не особо пристаёт, даёт розовость. Быстро краснеет, трепетно. Одухотворённая красота, светящаяся, но не животной статью, а назначением, содержанием, несущая себя, как творение. После таких лиц дико смотреть на сально испомаженные оливковые лица светских фемин — не пойми кем глядятся.

Нутро дома чистейшее, белёное. Образа, кресты, складень на полке-божнице, тюлевая зановесочка-рамочка... Конечно, и за стол, и помолились... А разговор короткий, прямо при матери — мол, долго не буду рассусоливать, приехал твою дочь сватать! О себе, мол, расскажу теперь уже всем и подробно. Рассказал. Вот так вот, мои хорошие, а ты, Наталья, думай, как надумаешь — скажешь. “А я поеду скоро, а после охоты вернусь за тобой, коль надумаешь”. Натальюшка покраснела. Мать Ксения: “Ну, думай, дочь, тебе решать. А мне дак такой зять и подошёл бы! Согласишься, и бравенько будет”. В Забайкалье это излюбленное “браво”, “бравый” — не молодецвасть означает, а положительность — в разных оттенках.

*“Пойду с горюшка, а я разгуляюсь, сяду на крутенькай тольке бережок,  
Ой, да ли я посмотрю я вдоль по морю,  
Ой да ой, там ли корабличек-та ваплывёт,  
Посмотрю-ка вдоли по морю, тамы корабличек бравый плывёт”...*

Угощали от души — дело было перед постом. Жирнющие щи, “жаренья” из баранины и “изюбряка”, рыжики, засоленные с багульником, сгибни

из масла и сахара — такие пироги гнутые, чай-сливан на молоке и с маслом. А вечером ходили на спевку-репетицию — Ксения пела в женском хоре.

Пели разное, весёлое и грустное, даже бывало и расхожее, но на свой лад.

*У меня коса больша,  
Ленточка малинова,  
Меня тятенька посватал  
За Кузьму Налимова.*

А потом зато пошло: “Выше ельничку, выше березничку”, “Мойся, моя Марусенька”, “Про разбойника Чуркина”...

Но особо запомнилась эта:

*В островах охотник  
Цельный день гуляет.  
Яму щастья нету,  
Сам себя ругает.*

*Поехал охотник  
На теплыя воды,  
Где гуляла да рыбка  
При ясной погоды.  
Там на берегу вздумал уснуть-одохнуть.*

*А там на берегу-береге  
Да сплелися два дерева,  
Сплелись кедер с пихтою,  
Со пихтою да со мяконькою,  
Не со ёлкою колючей — с пихтою мяконькой.*

Прощался одухотворённый, а в аэропорту сидел в зале с бурятской семьёй. Бурятки, пожилая и молодая, с ними близняшки — две девчонки. “Годовалые, видно”, — он тогда ещё не различал месяца у младенцев. В красных комбинезончиках, молчаливые. Щёки огромные, смуглые... Обратно спокойно летел: вечерний Байкал сквозь облака, и Иркутск светящимся кораблём. Корабличек бравый...

### 3

Наталья оказалась бесхитростной, жаркой и отходчивой. Могла обидеться из-за пустяка. Если подует от кого холодом, грубостью — краснела трепетно, как под ветром остывающий уголёк. Горячая волна неожиданно во влажное продолжалась — розово наполнялись влагой её выпуклые большие глаза, и эта краснота в веках была ещё беспомощнее, чем слёзы. В магазине, когда чеснока не досталось Ивану в тайгу — расплакалась. Ксения правду говорила Ивану: “Береги, она не ёлка, не колючка, а пихточка мяконька”.

Пихта-то пихточкой, а когда приглядная женщина долго и безнадежно не выходит замуж, то подозревают какой-то нутряной изъяз или интригу. Хотя чаще всё проще. У Натальи была по молодости неловкая любовь, а потом отца разбило, и она ходила за ним, пока младшие братья и сёстры не попереженились. “День за днём горшки выносила — какой тут замуж?” А потом, когда тятя умер, как-то потяжелела, подоглохла и в молитву ушла. Всё Иваново приняла, верно зажила, хотя тайга-природа суровой оказалась, чем в Бурятии. Зато и впечатлила добычей. Поначалу взбунтовалась: “Пошто собакам столь рыбы даёшь?” Работы не боялась, а главное — хранила дом и веру. Заскучала без цветов, говорила: “Мне хоть кысачьи лапки, но не только чтоб рядки”, насадила цветник, и Ивану приятно было, хоть и не понимал “мальвов с георгинами”, и любил таёжное: жарки, саранки, марьин корень. “Их цвет пусть и падат быстро, но живой, а дурак этот георгин стоит, как с пластмасса вылитый”.

Наталья очень хотела быть нужной, и Ивану страшно думать было, если б она другому досталась. Если б его нужда и её избыток не совпали. Оно в молодости бывает: что надо обязательно своё, нутряное, недомятое кому-то в ноги вывалить, как пушнину — и в том и смысл. А потом окажется, что всё это избыто давно и в чулане висит, а главное: что ты сам на приёмке стоишь.

Брачили их в молельном доме у Ивана в посёлке, а спустя год родился Пётр Иванович. Носила Наталья не сказать, что легко, но как-то уверенно, как заранее знакомое и пережитое. Иван же, конечно, и хотел дитё, но не подозревал, насколько всё по годам откроется... Со старшими по-другому было, моложе был, больше на работу глядел, и непережитое в Пете и скопилось.

Ещё в самом начале беременности, когда Иван, с тайги вваливаясь домой, то шёл уже к *имя* с большой буквы, к *имя двоим*. И так отрагивал хозяйски, так допрашивал Наталью о том, что с ней происходит, что казалось, бабье устройство знал лучше её самой. Ночью Наталья брала заскорую руку и прикладывала к животу, ею щупала: “Слышишь, шебарчит? Притих. Тебя чувствует”. Лежали затаив дыхание, ждали-гадали, чем забьёт ручкой, ножкой? Какие там экспедишники со своей сейсморазведкой! Что они знают о залегании? Иван, прижавший ухо к женским недрам, был во сто раз чутче тысячи датчиков, а живот — огромнейшей любовью синеклизы. Когда прислушивался, и там ударяло, то голова отказывалась вмещать — как так? Как вообще может быть — то ещё *ничего*, а то вдруг из этого ничего целая жизнь, судьба, дорога. И почему, когда она зарождается, только тихая ночь стоит и туман молочно ползёт из распадка? Почему горы не сотрясаются? Реки не взламываются и не выходят из берегов? Пушки не бьют? Почему, когда ядро судьбы в полёт срывается, не сотрясаются души от отдачи?

Все думают, что старообрядцы обязательно дома рожают. Но всё от обстоятельств зависит, и Наталья рожала в роддоме. Сначала увидел сына в люльке спящего, с безмятежным пригожим лицом. Потом уже дома, когда развернули и открылось поразительно маленькое существо, ножки с микроскопическими ноготками, головушка с залысинками, с прижатыми ушками. И живые *настоящие* глаза...

Запомнил, как в первый раз усыплял: Наталья передала умотанную в пелёнку куколку, и он аккуратно взял, чувствуя, как ходит, неустойчиво складывается тельце, нуждается в опоре головёнка на слабой шейке, и как чуть не пелёнка помогает, держит внатяг. Ладони, вёрсты кишок перебравшие движкам и оленям, принявшие тонны груза, все наладки утеряли и искали нового строя. В руках лежала целая жизнь, уходила в неизвестность лента-река, Селенга, Биробчана, Аргунь, упелёнутая в туман... Но не собирающая притоки, а сама полная развилки и текущая таким единственным створом, что о выборе лишь сухие русла напоминают.

Петя рос так быстро, словно кто-то ушлый подгонял и требовал только сердцевины дела, словно каждая пора, которая запомнилась по старшим детям как выматывающий путик, теперь ужалась до двух-трёх капкашек. Время бросило Ивана. Перешло в малыша, и сам Иван будто замер, настолько не успевал приглядываться к своим минутам-годам. Раньше скупердяйски подсчитывал, пальцы загибал, с остатком носился. А теперь весь счёт на Петю перешёл, и взгляд-наблюдение за ним стали дороже своего времени. И только когда порточки попадались относенные, как усевшие, то тогда и возвращали к обычному, трезвому отсчёту часов.

Петя был сильным, необыкновенно каким-то изворотистым. Мгновенно научился слезать задом с кровати, поглядывая через плечо, на пол. Очень смешно и сноровисто распластывался, чтобы заглянуть под кровать. Ища кошку, пролез за кроватью со стороны стены — всю длину. Бегал на четвереньках скоростно, лез везде, и Иван брал его под брюшко — так таку какую-нибудь берут, чтобы к барсуку в нору высадить. И всё продолжал забрывать ногами-руками быстро и сильно, извивался и требовал воли. Плакал, ковшом развезя ротик, обдавая жарким дыханием, сывороточным, творожным. Иван обожал Петьку мять, жамкать пятернёй за пузо, и тот хохотал

взахлёб, низко и заразительно. Смеётся “во всю пасточку” — вспоминал Иван свою бабушку Улиту. Глаза у Пети были мамины тёмно-серые, а бровки, когда он присматривался и удивлялся, собирались кочечками выпукло и остро.

После разлуки ново сидел на руках у Натальи, и очень прямо стояла его головёнка на крепнущей шейке. Мать держала его, отведя спину, как ветвь, а сын так и шёл сквозным стволом от земли сквозь чересла.

Иван, если был дома, сам усыплял Петю на руках: ходил, качая, напевая, до тех пор, пока лицо Пети вдруг таинственно не обострялось. Тогда глаза темнели и расширялись, и он начинал внимательно и напряжённо смотреть на отца, а потом в несколько прикрываний и приоткрываний их смыкать. Иван кое-какое время ходил, чувствуя, как наливаются Петя тяжестью, словно вздрагивания и покачивание ножкой забирали часть веса. Закрытые очи становились, наконец, особенно безмятежными, веки ослабляли смычку и потусторонне и белёсо проблёскивали в их проёме глазные яблоки. Петя ещё тяжелел, и Иван клал его на кровать, оставляя под ним руки, а потом начинал потихоньку выбирать их, как лёжки из-под брёвен. И Петя спал, прозрачно синяя веками, крупно отягивающими глаза, и будто вырослел, тяжелел лицом.

Иногда Петя не мог заснуть, и отец, напевая, носил и носил его, и тот по обыкновению напрягался лицом, строжел даже, но вдруг тщетно и трудно замирал на мучительной границе. И глядели два огромных глаза, и Иван смотрел в них, только догадываясь, какая работа идёт там за границей тайны, пока узаконивает человек свои отношения с вечностью и просит подмоги, потому что рождаться на Земле так же страшно, как и умирать.

И Иван думал, как дожить, чтоб вместе с сыном быть в тайге и после трудового дня смотреть на ребристые предзимние горы. Он их любил за то, что уже белые, когда всё остальное, подножное — ещё серо-осеннее. И чтоб лежать у костра на берегу и вдвоём смотреть на притихшую даль. В такие минуты мало говорится. От жара углей лишние слова будто выпариваются. А дрова пепельные, плавничные, и горят невидимым пламенем, только угли внутри костра густо-яркие, а по краю остывающие в пепельной кожурке. И жар на лице. И ветер. И даль. И так охота эту даль передать Пете, что вспоминался рождественник с Алтая. Тот рассказывал, что ему дед “ключи передал”. На реке будто ямы для зимней рыбалки, где ключи дно буровят. И ключи будто фамильные, все их держат в секрете и только по наследству передают. “Ты чо, не знал — где живцы бьют, там и рыба стоит!” Иван не понимал, как можно зимой укрыть, где рыбачишь, но история ему нравилась. А слово “живцы” особенно.

Бывало Петя и не спал, и плакал, и Иван носил его как на стульчике на руках, поднимая так, что Петькин затылок оказывался почти на уровне глаз, и смотрел словно его глазами, прицеливался, прикладывался.

В тепло Петю замучила потничка, мама его побрила наголо, и он постепенно обрастал светлым ворсом. Заходила соседка, тоже Наталья, быстрая, худая, балагуристая, с сухо-жгучими глазами. Работала она на метеостанции. Говорила хриповато:

— Ой, смотри чо, макушка-то сбоку! — и добавляла очень уверенно, по-докторски: — Это ты на одну сторону спать ложила!

— А у вашего где макушка? — спрашивала Наталья.

— А у нашего две макушки, мать говорит, у отца так же было. Он-то не знает — лысый давно. Но иди ко мне, иди моя...

Петя не очень хотел идти. Держался за мамину юбку и оттуда поглядывал. Подмигивая Наталье, вмешивался Иван:

— А правда говорят — две макушки, две жены будет?

— Не знай: у меня брат третий раз женится, а макушка одна. А вот, что правша будет, если по часовой закручена — это я вам как синоптик говорю.

У Пети закрутка шла направо, волосики простирались спирально и верно. Огромные, поливающие Сибирь циклоны также глядятся из космоса. Когда их дожди, напитав холода в поднебесье, падают на раскалённую лет-

ною землю, то, кажется, так и уйдут паром, настолько нагрета сухо-смолевая тайга. А ещё бывают спиральные галактики, и Иванова бабушка тётка Улита говорила: “Звёзды пятна бывают, звёзды пёры, а есть ещё под заверть”.

#### 4

Сыны подрастали и уже не уместались на охотничьем участке отца, поэтому решено было расширяться — в Эвенкии к востоку от участка пустовала территория. Прежде там беспорядочно промышляли экспедиционники из сейсморазведки, благо можно было попасть на вертолётке. По воде далеко-вастенько, да и реки больно каменные и порожистые. С развалом страны экспедиции ушли, и полёты прекратились. Охотники и радовались, и огорчались. Радовал уход сейсмиков, “гравиков” и прочих изыскателей ископаемых, которые для охотников — источник вечной опасности. И печалил развал охотничьего хозяйства, несусветное подорожание вертолётных часов. Многие не понимали, к чему оно приведёт, и молодо радовались воле. Дескать, “Не-е-е... Я даже не парюся. Чо-чо, а пушника-то всегда в цене будет, хе-хе. Поди, не пропадём”.

Этой зимой Иван устроил поход на новые земли, которые прирезал к своему участку, по всем правилам оформив в районе. Ждать весенних настов Иван не хотел и освоение совместил с промыслом. Мечтал узнать, что там за места, зимовьё души до новых границ расширить.

У Ивана была примерная карта с парой избушек, больше ничего, и ясно, что горы, тайга да болота. Охотился там один мужик, Ванька Вагнер, у которого можно было бы вызвать про избы и путики, но он уехал в Германию. Да и знал о нём Иван понаслышке — Вагнер жил совсем в другом, большом, посёлке, где стояла тогда экспедиция.

Места эти от жилья далёкие... Каменные реки, в засушливое лето грозно щерящиеся валунником, усыхающие до непроходимости. Невысокие, до версты, столовые горы, оперённые гранёными скалами, лиловым штыковником, по колени тонущим в каменных россыпях. Тайга, больше лиственничная, стройно-антенная и завораживающе чахлая. Пылающе-рыжая осенью и штрихово сереющая по снегу. Эвенкийские грозные названия, бесчисленные Чепраконы и Ядромо́. (При слове Ядро́мо представляются похожие на ядра базальтовые камни, а Чепракон происходит от эвенкийского слова “чепара” — рыбы молюски.) Бывает, самая зычноимённая речушка окажется пойменной и невзрачной, а какая-нибудь негромкая — грознокипящей в скалах.

Уже весь участок был насторожен или “взведён”, как говаривал Иван, или первые проверки, охота была неплохой, и к середине ноября Басаргины планировали разведку востока. Близился общий сбор в краевой избушке, откуда начинался поход, но ударила мерзейшая оттепель.

Младший сын Лавр, по братскому обычаю вступающий в полосу дикой силы, проверял путики в соседней избушке, до которой по реке было километров пятнадцать. Он уже всё сделал и рвался навстречу к отцу и братьям — окрылённый хорошей охотой и планами рвануть на новые земли. По крутому гористому берегу снеговой дороги не было — ходили только на лыжах. Поэтому выезжать надо было по реке, которую в тепло мгновенно промывало, особенно у берегов в камнях. Про середку же и речи не шло — полыньи да пропарины. Следовало спокойно выждать денька два-три, когда оттепель отсопливит и вернётся морозец — прольёт, проклетит и опечатает: “Хоть боком катись”. Особенно если снежком подперит для мягкости. Всё ж “не зря Бог-то делает”.

Но Лавря настолько разогнал, что ломился к отцу не глядя на “шлячу”. Тот настрого запретил дёргаться, но Лавря всё целил то “буран” пробовать, то “дорогу топтать”. (Топтать — означает бить путь техникой, трактором ли снегоходом.) Вечером не вышел на связь. Часов в пять утра Иван проснулся. На дворе было около ноля градусов. Воздух дышал оттаившей хвоей, неплановой прелью. Вот-вот побежит с ёлок и пихт — талая

кухта настоится на хвое и закапает на снег жёлто-зелёным, дырчато очертит по кругу стволы. Иван попил чаю и, не дожидаясь рассвета, поехал на сторону Лавра. Валили в душу примеры, как кто-то не поехал на выручку, а человек утонул, замёрз, надорвался. Тем более Лавр в “дикой полосе” и от него чего угодно ждать можно. Лыжи Иван пожалел в такую мокреть и оставил.

По всей длине реки шли или крутые берега с тальниками, или скалы и каменные гряды. В ямках мокро зеленел снег. Вокруг небольших камней выпуклым кольцом играло течение. Большие стояли в скорлупных развалах — когда вода падала, они вылезали, ломая лёд. По прямой не разлетишься, одни зигзаги. Да и берег бахромчатый, мысок на мыске. Несколько раз Иван садился — то проваливал в берег, то в наледи вяз — под снегом водищи в колено. Через ручей стелил переправу, и до обеда проехал километров шесть. Ноги подмокли — бродни есть бродни, “голяшки-то тряпочны”. Упрел ворочать снегоход, вычищать снежную кашу из ходовки, машина разлапистая, как лягуха, пять раз крутанул и язык на плече. Кусок с ровным берегом проскочил секундно, но потом снова пошла изрезанка, потекли ручья с промоинами под устьями. Один пришлось переезжать по берегу, по оттаявшим чёрным камням — и вспомнилось почему-то, как тоскливо-тало в городах над тёплыми трубами.

Началось сужение, берега выперли особенно вертикально — и ещё сильнее забило течение в речные щели и ослабился лёд на кромке. Скалу от реки отделяла длинная продольная коса. Она возвышалась белым уступом, Иван попытался на неё заскочить, но сел, провалив лёд гусянкой, и уже стоя на косе лыжами.

Иван натолкал палок. Эх, вдвоём бы да с Лаврой... Но “вдвоём и дурак управится” — и он выломал небольшую тальниковую веточку — сучок в две спички. Засунул под рычажок газульки, прищемил там, а сам ухватил за лыжи и потащил. Вышло, будто невидимый кто-то на газ давит и убрал главнейший тормоз — прилипающие лыжи. В несколько приёмов выпер он технику на сухое.

Иван был еле живой, и грыжа старая болела, и спина, но главное — силы ушли. Чего стоит каждое раскачивание, толкание, поворот снегохода... Ясно было, что надо “ворочаться”. Он достал небольшой термос и долго пил чай, запаренный с клюквой.

“Ну что, назад так назад” — и он убрал пустой термос обратно под сиденье к ключам. Проехав по косе, Иван соскочил на лёд, ну взял чуть косо (“расслабился, телепень!”) и снова провалил снегоход в заберегу. Лыжи и задравшийся передок стояли на льду, а зад ушёл полностью, с фонарём. В багажнике под сиденьем плавал термос, и оловянно глядели ключи сквозь воду. “Смотри как разделились, а вроде вместе лежали”, — проплыло в голове. Снегоход он засадил окончательно.

Где-то за облаками задумчиво гудел турбовинтовой самолёт, видимо, такой же АН-24, на котором он подлетал к Байкалу. Отдышавшись, скинув мокрую горячую шапку, попробовал ещё раз вытащить снегоход сучочком. Тащил из последних сил, до задыхания, дробил в груди. Ни в какую. Только горел ремень и выхлоп пробуживал через воду. Заглушил и, едва сел, отходя от схватки — медленно вступил, навалился тот же задумчивый эховый гул самолёта — уже на излёте... Волнами доходил, будто огромное сверло ворочалось, укладывалось в невидимое ложе.

Уже темнялось, и ноги были вдрызг, особенно правая. И вроде всего-то минус два, а противно. Иван подобрал шапку, и, выстывшая, она мокро оклеила голову. Он завёл снегоход, открыл капот, уgnёздился кое-как на двигатель, разулся и стал зверино греть-сушить ноги под тёплым воздухом из под вентилятора. Мешался натянувшийся тросик от капота — когда его задевал, тот гудел струнно.

Разувался долго: сначала размокшие, распухшие, как из сала нарезанные сыромятные вязочки. Потом матерчатая голяшка с калошей, войлочный вкладыш-пакулёк, вдрызг мокрый и навозно отдающий овчиной. “Не моют, видать, шерсть”, — подумалось, и представился бараний огузок с катышками



навоза. Портянка. Вязаный носок. Простой синий носок. Голая белая нога в чернильных разводах.

Бесформенный пласт пакулька Иван выжал коричневой жижей, отжал портянки, положил на глушитель, и они запарили. Голо сиделось, пронзаемо — речная даль, ощупливый ветерок. Тарахтел на малых движок, гнал из ребристой бочки тепло на белёсые ноги.

Не согрелся и не высушился, а обулся в сырое и попытался ещё раз выгнать снегоход. Как, нацедив сил, пробуют уже отупело, в надежде, что и в остальном — в технике, в береге, во льду — тоже накопилось что-то спасительное. Не накопилось.

Километра в четырёх в обратную сторону стояла маленькая избушечка, нужная по осени, когда ходили пешком. Сейчас Иван её миновал, и захода к ней не было. Он долго шёл к ней по снегоходному следу и добрёл в темноте. Предстояло подняться в угор по метровому снегу — в распадке его надуду чуть не в пояс. “Самый набой” — с отстранённым одобрением подумал Иван и одновременно отметил: “А ноги-то чужие”... Полез вверх бродком, еле их выживая и переставляя — снег был по бедро, липкий и плотный. Вязочки размокли настолько, что, когда бродень засел, нога выдернулась голая. Иван уже не держал равновесия — вытащив портянки, затолкал их за пазуху и попытался всунуть ногу обратно, но промахнулся и уткнул ногу в снег правее, потом левее отверстия. Долго целился, балансируя, тяжело и часто дыша, потом замер на одной ноге, пошатываясь, потом, будто очнувшись, наступил, но нога угадала меж стенкой снежной трубы и смявшейся голяшкой. Снова терпеливо целился, в конце концов, пошал, стоптав слезший носок. Потом встал на четвереньки и пополз, переступая коленями. Полз так долго, что мнилось в голове, а точно ли тот распадок, и точно ли там стоит зимовьюшка? Ведь рядом такой же. А вдруг ошибся? Ещё прополз и поднял голову. На угорчике в кедраче великолепно и огромно стояла избушка — снег толстым высоким платом лежал на крыше и добавлял высоты.

Усталость бывает разная — бывает обычная до сладостности, когда в блаженство и ужин, и сон, в который рухаешься, силясь продлить мгновение, побыть на границе — аж засыпать жалко. А есть усталость нехорошая, когда нутру неладно. Она и была у Ивана.

Иван затопил, поставил на печь набитое снегом ведро и разулся. Ноги не чувствовали больше чем на полстопы. Вдобавок он прижёт большой палец об железо, и где-то зацепил — задрал с кровью ноготь: отдир не чувствовал... Растирал ноги, пока не осталось мерзкое онемение только в пальцах, а потом и пальцы заломило — отошли. И ноготь засочил. Иван недоумевал: “Ещё понятно в мороз ноги ознобить, а в тепло-то чо?! Так старею что ли?” Он то лежал, то пил чай и грыз сухой компот, выбирая ломтики покислей. О серьёзной еде и подумать было дико. Лежал, прикрутив фитиль лампы, в ровном недвижимом свете. Думал, как выспаться и с новыми силами идти к снегоходу, но заснуть не мог. Потом стало рвать, потом снова лежал, время от времени выползая в ночь узнать, не сменился ли ветер. Дула та же постылая верховка. Когда очередной раз вышел, валил сырой и очень крупный снег. “Лопухами пошёл”, — медленно проехало в голове.

Снова лежал на сохачьей шкуре, отпаивался чаем и всё никак не мог найти положение, чтоб полегче стало намятому телу. Только ворочался, и выбитый сохачий волос лез в иссушенный рот. Навалился страх за жизнь, как в самолёте, когда Байкала ждал и крепился мыслями о близких. Иван снова повернулся в полудрёме, просторно выбросив руку, и нашел, наконец, положение, когда прилеглось вдруг прохладно и расслабленно. И в полудрёме привиделось, будто все близкие вокруг него собрались, включая и погибшего ребёночка, и Иульянышкоку, и Наталью. И жмутся, льнут под руки, под мышки, прилегая знакомо, укладисто, как перо. И само пришло: “Да ведь Он, поди, этого от нас и добывается”. “Да скорей всего”, — подумал Иван, чувствуя, как от этих слов буквально на глазах крепнет, выгибается под ним заветный мосток. И вспомнил, как вышел из самолёта, не решив дела. Сейчас было ощущение, что вернулся к брошенной передуттой дороге и пробил, сколь мог. И что главное — ещё вернётся.

Так и не спал добром. И не ел. Ватный, с нутряной мелкой дрожью встал под утро, не отдохнувший, наломанный, но душою подлатанный. Молился перед синеющим окном, закидывая двуперстие выше ключицы, посередке меж шеей и краем плеча. После правила просил своими словами, Господи, дожить бы до дней, когда Петя подрастёт, когда пойдёт с ним в тайгу, и они будут сидеть возле костра у избушки... Потом пил чай, грыз плоские компотины и представлял какую-то неведомую несбыточную избушку в просторном месте, откуда видна и река, и горы. И осень. И на горах снег, ровно по струнке — а низ сопок тёмный и талый.

А несбыточная потому, что такой избушки у него не было, да и редко бывает у охотников. Обычно строят не в проглядном просторном месте, а где хороший крепкий лес — чтоб навалить на стройку, да и избушку стараются скрыть с реки.

Иван надел все слои просохшей до корочковой сухости обуви. И в зудящей слабости спустился на синеющую реку, к оттаявшие-чёрным хребтам-берегам и побрёл к снегоходу, чувствуя, как вкачивают в него силы и ветер, и свет, сквозящий сквозь сизую облачность. Снегоход вытащил моментально. Подрубил жердей, раскачал, подsunул под гусеницу. Сучочек под газ — и вся история.

Уехал в избушку, а там на рации Лавр: оказывается, поросёнок, поперёс несмотря на запрет и врехался по щиток. Ночевал у костра чуть не в потеху — “смолёвый пень запалил такой пеклый!” Выудил снегоход непонятно как, снял двигатель, упёр к “пеклому пню”, вылил воду, промыл бензином, воткнул на место и вернулся, излучая героизм на полрайона. А ещё и находчивость: в редуктор залил подсолнечного масла! К тому же у двигателя болт крепления отрываться начал, и Лавря случившееся умудрился в свою пользу повернуть: дескать, неисправность предупредил! Отец до поры ничего и не сказал Лавру, только слышал, как старшие его копали. “Слышь, хозяйственный-смекалистый, масло-то, смотри, потом слей в бутылёк, а то оленины не на чем пожарить будет, а тут значка!” “А ты какое лил: обычное или очищенное? А то тут один очищенного налил — и копец редуктору!” А Пимен крикнул: “Лавря, ты их не слушай! Шуче-го жира натопи и долей туда!” А “Болошимó” прорезался будто прищемленным тембром: “Ково шуче-го?! Медвежьего набей — так взревёт, что держись!”

К вечеру синий дым из трубы избушки упруго заломило на юго-восток, и стало неумолимо колеть всё то отошедшее, слабое, что прежде так раскисло, обессилело и расклеилось. А потом и дорога началась, и встреча в избушке со всеми сыновьями, перед дорогой на Ядромó.

Конечно, не у одного Ивана замирало сердце пред этой дорогой — до того хотелось новые места открыть и освоить. Чуть отравляло, что в них поширились сеймики, но мысль была подспудной и неосознанно-староверской — что всё меньше мест, куда не добрался мир. Общего настроя она не портило, тем более сыновья и не глядели так глубоко, а профилям только радовались: “От так прямикí!”

На сборной избушке обсуждали Лаврин фортель с утоплением “бурана” — до сих пор непонятно было, как он его вытащил, и скорее всего, берёг секрет на рассказ. Иван понимал, что парень на самом изломе, переходе от мальчишки в мужичка. Сын действительно матерел, немного даже заигрывался, на зуб пробуя близких, и ершел, если с ним говорили “приказательным голосом”. Отец дивился, насколько разные люди растут с одного корня, и бабкины слова вспоминал: “Один кедер — сук от земли идёт, а другой нелазовый, как свечка”.

Лавря сидел на нарах рядом с отцом. Отец начал выговор:

— Ты ково, торопыга, сорвался?! Из-за тебя в воде по уши насиделся.

Тимоха поддержал воспитательно:

— Да ты, тятя, ещё выудить умудрился как-то! Со спиной своей, да грыжей...

Отец отвечал специально немного показно, пренебрежительно:

— Да как-как?! Сучок под газ сунул и за лыжи выудил. Подумашь, премудрость... — и снова завёл сурово: — А тебе, Лавря, русским языком сказано было “сиди не дергайся, подстынет и поедем”. Ково лететь-то, я не понимаю. Головой-то наа думать. Господь Бог всё устроил, чтобы у тебя выбор был. Можно вон... — говорил Иван возмущённо, — в малу воду по речке подыматься и лодку унахратить, груз потопить, и грыжу надуть, а можно... — и он продолжил спокойно: — воды дождаться и доехать поплёвывая.

Образ был доходчивым: Иван действительно ездил, поплёвывая скорлупки от орехов.

— А если не будет? Воды этой?! — отбивался в азарте Лавр, после разлуки вдруг крупный, раздавшийся. “Скулы — капля в мать”, выпуклые, будто блестящие, масляные, а борода ещё слабая, прозрачная по сравнению с плотным светло-русый горшком волос. И стык между горшком и бородой как подклеенный.

— Будет. — с силой говорил Иван, — Или ещё что-нибудь будет.

— А чо будет-то? — не унимался Лавря.

Тима тихо и строго сказал:

— Ково споришь-то?

— Не спорь, а опыту набирайся. — раздражённо давил Иван. — А если у самого тямю нет, дак слушай старших тогда! Говорил, не ездить?

— Да ладно, тятя! Ты смотри — бывалый, а тоже технику утопил! А как тебя послушашь, дак не должен был врюхаться вовсе.

Ивана возмутило это краснопевное “врюхаться вовсе”.

— Что-о?

— Да то, что тебе берегчись наа по годам-то, а ты рискуешь! Тем более у тебя ещё и Петька теперь.

— Да он тебя ради поехал-то! — не выдержал Тимоха.

— А если б утоп бы — тогда чо? Ты об этом подумал? — вторил Стёпа.

— Да как утоп-то? — не умецалось в голове у Лаври, настолько он был молод и силён: — Ну купнулся, подумашь: не сахарный, не размок... Главное живой.

— Сёдни живой, а завтра... — Иван аж рукой махнул, его возмущала невозмутимость, с какой Лавря отвечал, выраженьица, не по годам схваченные: — В пень головой. Да потому что на авось всё! — снова раздражился Иван. — А это, знашь... — и он отвернулся, — Как дед Ерон говорил: кто авосничат, тот и постничат...

Иван помолчал и спросил строго:

— “Буран” как достал?

— Бать, а ты пилу брал с собой? — вместо ответа вдруг спросил Лавр.

— Чтоб тоже доставать потом? — презрительно рыкнул Иван и отрезал: — Не. Мне топора хватат.

— А я взял, тятя, в мешок, правда, резиновый засунул. Потом, когда врюхался-то, на гору поднялся, кедрину свалил...

Лавря долго рассказывал, как излаживал ворот. Как добыл колодину из душистой кедры, выпиллил вагу, палок наготовил. Потом лёд пропилил под вагу, вагу в дыру просунул, в камни донные упёр. Как её выталкивало течением, и он её заклинил в булыганах на дне — показал руками. Все — деваться некуда — представили, как он шарит подо льдом вагой и через эту гудкую вагу ощущает дно в скользких камнях. Как “напялил на её колодину”, обмотал верёвкой, палку в петлю воткнул. “Буран” цопэ — и от те жалста — на сухом, ещё и помытый, хе-хе! Хоть глядись.

— А... — было открыл рот отец.

— А потом, когда второй раз-то ухнул — у меня воротешко наготове! Хоть под любой лёд вались. Так что как говорится — не будь тетерей — борись с потерей!

Лавря весело глянул на братьев. Отца окончательно скрутило от возмущения. Хуже всего было, что парень-то всё верно сделал и его похвалить следовало, — но уж больно кичился и краснобайничал — когда только выучился?! На рации на этой поди! Как подпишут к ней — не оттащишь.

Братья не ожидали такого поворота и смотрели на отца.

— Молодец, ничо не скажешь, молодец! Но только вот слушай. Тетеря, потеря... Ещё поговорка есь — дурная голова ногам покою не даёт. Ты на гору с километ залез, полгектара леса угробил, и чуть пуп не сорвал. А я, — он подмигнул Тимофею, — одним сучочком управился! От так от! — Иван потрепал Лаврю по плечу, приобнял и торжествующе оглядел избушку. Все засмеялись, а Лавря потупил глаза.

— А что с воротом нашёлся — молодец! — и всё равно ввернул: — Не зря учил, ха-ха!

Потом помолчал и добавил:

— Каждому Бог по силам урок даёт. А выбор всегда есть. Все-е-егда...

Наутро дымили на прогреве снегоходы, собаки заходились лаем, чуя дорогу и боясь, что их оставят. Ветерок метнул снежную пыль с ёлки. В жилу с ним раскатно прокричала кедровка. Сыновья доувязвали нарты с грузом, которого набиралось: палатка, жестяная печка с трубами, капканы, бензин. Лавря прилаживал пилу, с силой суя под верёвку — царило то дорожное возбуждение, преддверие нового, неизведанного, ради чего, наверное, и существует эта чистая и крепкая жизнь... Погодка стояла “само то”, без сильного мороза, но и без тепла, без снега. Розовеющее небо, дымочка. Редколесье в сахарных ёлочках.

Вот и двинули, наконец. Передóm с лёгкой нартой шёл в спиральном облаке Лавря, особенно воодушевлённый и будто ещё повзрослевший за ночь. Иван ехал по готовому следу за сыновьями, и дорога не забирала внимания, а шла в размышлениях: что там за изба? Насколько мог разорить её медведь? Не горело ли там в последние годы? Есть ли лабаз? Если есть — то наверняка там спальник, ещё что-нибудь нужное, может, даже крупа для собак. Да мало ли что. В тайге каждая крупинка на пользу. Если лабаз есть, то, скорее всего, на ноге — на листвени или двух.

Тогда ещё не вошли в обиход железные бочки от бензина — с надевающейся крышкой на болтах. Их привязывают тросом к дереву, и медведь сколько угодно её мусолит, но не укатит и не вскрыет. Только царяпины оставит и шерсть на гайках. И Иван хоть и перешёл давно на бочки, но сердцем любил именно рубленые лабаза на ногах.

Дерево надо выбрать без намёка на прелость — медведь гнилое сердце учует сразу и срыззёт. И чтоб не смог ни зацепить, не скинуть. Целая премудрость, как закрепить полномоста на стволе. Понятно, с лестницы начинается, а дальше на нужной высоте врезается крестовина под будущий помост. Потом опиливается ненужная часть дерева, та, что над тобой. Ещё полбеда нынешней лёгонькой пилой, а “уралом” или “дружкой” попробуй! И ещё не свернись с верхотуры! И спили так, чтобы пол-лесины, падая, тебя не пришибла и не сбросила, не впечатала. Вот опилил, затрепало, отдалось по стволу, и вот валится с хряском тяжёлый кронштейн остаток. И в момент отделения — дико сотрясается-играет освобожденный от груза материнский ствол с крестовиной и тобой, вцепившимся в обрубок, держащим пилу со жгучим глушителем. В запахе моторной гари усыпанным по глаза лишкими смолёвыми опилками.

Самому лабазу ещё и крышу надо сделать. Решить из чего — с доски ли пилёной? Или корьём покрыть? А ещё ошкури ногу от самых корней до помоста — чтоб не гнила, и чтоб труднее было забраться, хоть кому — хоть мышу.

Ближе к вечеру добрались, наконец, и до места, профиль экспедишный вывел. Мало того, что избушка целенькая стояла под снежной шапкой, да ещё и лабаз рядом как подарок. Избушечка небольшенькая, но ладная, и главное, крыша целая. Накатали площадку... А место великолепное. Лес вроде и густой, но у берега проплешина, редкий листовяжок по краю. Видна и река в повороте, и горы. Квадратные с гранёными боками, бело-пребельные. У горизонта свинцово-синее вечернее марево, и они на его фоне светятся мелово и нетронуту.

У избушки медведь когда-то порвал полиэтиленовое окно, и ребята быстро натянули новое — плёнка с собой на этот случай. Труба высокая

колонковая\*, тяжёлая — чуть печку не удавила. По трубе текло, и ямка на печке особенно ржавая, до хлопьев. Тяга в печке такая, что плёнка на окне дрожит и ходит ходуном. Дрова под нарами. Лампу даже нашли, а солярка с собой была.

Иван ещё раз полюбовался видом. Глянул на лабаз: на двух крепких ногах. На них настил, но само сооружение разочаровало — брезентовый островерхий домик на каркасе. Путный охотник дощатый бы сделал или хоть с жердей... Опять раздражение шевельнулось — экспедишники... Зато на ноги под самым настилом надеты железные бочки, дырявленные топором под размер стволов. Целая работа, но по ним никакой медведь до лабаза не долезет.

— Лестницу ищем! — копались молодые.

— Да под снегом она!

— Да ищем.

— Да ково искать. Она если и есть где, то сгнила, лежит дак.

Сыны возмущали: ведь ясно, что проще новую сделать, чем вчерашнего дня искать. А главное, всё равно этим кончится. “Но специально не буду ничего говорить. Пусть ищут”, — подумал Иван и на всякий случай присмотрел пару-тройку сухих еловых жердин — обычно у избушек сушняк выбран, а тут людей не было: и насох. Самому аж понравилось, и он с удовольствием повторил: “Насох!” Несмотря на упрямство сыновей, настроение было хорошее, как всегда на новом месте. Особенно обнадёживали меловые горы и изгиб реки с серыми сопками. Буквально пронзало знакомостью — есть виды, в которых всей Сибири причащаешься.

Иван запалил костёр — собакам варить, распаковал нарту, спустился на реку по воду. Лёд был слоёный. Он продолбил верхний слой и не спеша набрал эмалированной кружкой в ведро синеватой воды. С водой черпалась и шуга, и, выливая, он держал её пальцем, а она светлела — игольчато и серебряно-ярко. На ветерке кружка бралась корочкой. Перед тем как подняться на угорчик, снова глянул на реку. Горы чуть усели, но даль забирала ещё сильнее и глубинней.

Вернулся к избушке в какой-то расслабленной задумчивости. Избенка, конечно, так себе, наскоряк скидана — новую придётся рубить. Подошёл раскрасневшийся Лавра: “Тятя, надо лестницу делать”. Отец только поднял брови и пожал плечами.

Уже темнялось. Свалили и притащили сушины, серые, гудкие, легкие. Ходящие ходуном, они пружинисто отдавали в руки. Сучочки как железные зазвенели под топориком... Мгновенно нарезали стволиков на ступеньки. Торцы шершавые, занозистые по краю, тёплые. “Гвозди в верхонке под сиденьем!” — звонко крикнул Степан.

Работали без рукавиц. К вечеру небо совсем расчистило, засинело, и драгоценно проклоннулась первая звёздочка. Лавр прибывал ступеньки, и гвозди подлипали к красным, мокрым рукам. Он хотел делать быстро и эффектно, но гвоздь то на сучок попадал, то шёл не по волокнам, сгибался, и Лавря быстро выправлял его лезвием топорика. Вот и лестница готова. Синее морозное небо ещё чище разгорелось звёздами. Лёгкая, пружинящая лестница лежала на укатанном снегу.

Давно уже кипел чайник в избушке. “Пошли чаю попьём — всё равно тёмно настало. А на лабаз и с фонариком слазайте!” Ребята охотно втиснулись в тёмную избушку. При дневном свете мятая печурка была рыжая в ошметьях ржавчины. Теперь горела туманным и чудным кристаллом рубина. Лампа с еле живым фитилём светила чадно, но было тепло и хорошо в избе. Скинули шапки, суконные азямы, замороженные до зернистых сосулек. Лавря стаскивал через голову свитер и рукавом смахнул с полки коробку с гильзами. Братья захохотали. Рукавицы пихали вокруг на гвозди, на вешалá. На печке стояла без крышки кастрюля с гречкой. В ярко-синем свете фонарика она лежала в прозрачной водице, как галечка. Несколько гречи-

\* Колонковая труба — труба, применяемая в колонковом бурении скважин. Хороша своей вечностью.

нок плавало. Лавр положил суконные верхонки на вешала над печкой, одну обогнул вокруг затёртой палки, а другую не догнул, она расправилась и упала в кастрюлю. Оттолкнув Стёпу, он бросился к мокрой верхонке. Братовья хохотали: “Куда приварок потащыл? А ну ложи на место!” “Лаврушка лаврушку решил закинуть!” Лавря выжал верхонку, приладил на палку, и с неё мерно запшикало на печку.

Попили чаю, вышли на улицу — звёзды ещё ярче обступили, освоились, и ещё гуще вился пар из запахнутой двери избушки. Поставили к лабазу лестницу, и она упёрлась настолько крепко и устоисто, что, казалось, была здесь извечно. Лавря с налобным фонариком полез по ступеням. Иван оглянулся на собак, но тут же раздался вскрик, и с лестницы кубарем скатился и рухнул в снег Лавря.

Братья ринулись.

— Да чо такое? Живой?

Лежал согнувшись, потом стал разгибаться, морща засыпанное снегом лицо.

— Обождите, не поднимайте его!

— Чо? Как?

— Спина как? Руки чо? Ноги?

— Тятя, там... там зубы! Тятя!

Батя подошёл к лестнице.

— Карабин возьми! — крикнул Тимоха.

— Да какой карабин! — проворчал Иван, натягивая на шапку фонарь.

Иван долез и откинул брезентовую полу. Фонарь осветил дикий и ослепительный оскал черепа в усохших остатках плоти. Оскал будто опоясывал голову... настолько был противоестественным вид человеческой головы без обложки. Касаясь пола согнутыми ногами, висели за шею на удавке останки человека. Верёвка была привязана к коньку.

Долго не могли прийти в себя и, подавленные, улеглись спать раньше обычного. Рассыпчатая гречка так и осталась в кастрюле. Не могли стряхнуть, сбросить, смыть увиденное, дикое, поражающее внезапностью, нелепостью. Всё казалось оклеенным засохшей слизью тлена.

Лежали: Лавря на левых нарах, сам на правых, а Тимофей со Стёпой, не сговариваясь, решили на полу. “Чтобы не спать на покойничках нарах”, — догадался Иван. Некоторое время он с налобным фонариком читал Евангелие. Потом положил на стол — фонарь поверх книги. Лежал, сопя, ворочаясь, пружинно проваливая нетолстые доски нар. Снова слоились мысли: ведь как рвались сюда в целинный снег, на край света, в новое, радостное, нетронутое... А уткнулись — в чужое несчастье. В закрайки чьей-то орбиты... Чуть не в материк.

Иван прислушался к сыновьям: вроде ровное дыхание, ну хоть спят, и то подмога. От те и Ядромó. Будто речными камнями грудь придавило. Даже представить Петьку не разрешал себе. Да как же так? Что же стряслось-то здесь? Что за человек? Нездешний, поди. Здешнего хватились бы... Ну. Скорее с экспедиции. Опять, почему не искали? Или беглый? Скорее всего, беглый. Скрывался, делов натворил и не выдержал. Опять, если с экспедиции, то откуда у них беглый? Да мало чо. В посёлке случай был: строители повздорили по пьянке, один другого зарезал и в тайгу удрал. Три года ни слуху, ни духу, потом в Чите всплыл. Опять, если нездешний — то такие, нетаёжные, когда припрёт — начинают, наоборот, о материке мечтать и сошки своротят, чтоб выбраться. Да нет, скорее всего, делов натворил... Хотя тут одно дело другого краше: если когó убил, хоть покаяться можешь, а если себя — то... и всё. Расхотелся... Помолиться надо за него, а уж примет ли Господь Бог — видно будет.

Снова закришела под Иваном пилорамная дюймовка, завезённая вертолётom. Вспомнился Васька Ларин, командир “ми-восьмого”, который забрасывал его на охоту. Любимец всеобщий — ладный, маленький, весёлый — синеглазый с чёрными усами. Однажды, будучи в большом посёлке, Иван коротко сошёлся с Васькой. Стоял Иван у некоего Глазырина, сочувствующего старообрядцам. У Глазырина брага была своя, у Ивана в бидоне подмёрзшая

своя — Иван из деревни на снегоходе приехал. Брага замёрзла так, что сверху поднялось “спиртовое ядро”, как сказал Глазырин. Они с Глазыриным этим ядром и угодились, а вскоре завалился Васька с какими-то городскими кручёными и “сильно не последними” мужиками. А у Ивана рыба, оленьина копчёная. В общем, крепко выпили, разговорись про тайгу, речки и заспорились с Васькой: тот утверждал, что по Делинге приток Огнекан справа по течению. Иван точно знал, что слева. Васька предложил спорить на ящик водки. Ивана развезло с дороги и “опосля ядра”. Он протянул руку Ваське, и их разбили. Пospорили и поспорили. И вдруг Васька вскакивает: “Погнали в аэропорт”. Сели в машину. Примчались в эскадрилью, взяли карту — и вот уже Васька несётся в магазин, и берёт ящик.

Тут сыграли и мужики городские, какая-то выгода Ивану замерещилась, корысть — не устоял, бесы бок о бок ходят. Кураж его поймал. Брагу пил сначала, потом голову потерял, а потом, когда брага ушла, давай его компания водкой потчевать, а староверам нельзя, но он уже пьяный. И понеслось, потащили куда-то в гостиницу, там горничная накрашенная, он и с ней балагурил, и песню спеть порывался, а потом, Бог помог, рухнул. Иван был малопьющим, и утром звзвалилось на него такое похмелье, что чуть не помер. Что “в голове ветер лес ломат” — ничего не скажет. Как горой задавило. Всё, чем жил давеча — дорога, семья, промысел, стройка, скотина, труд наружный и внутренний, всё как бульдозер сравнил. Мёртвое поле. Тоска без раздела на душу и тело — давит оптом, как танк, тупой, огромный, скрежещущий. Тогда он и понял, как люди на себя руки накладывают. Не из-за того, что жизнь сбилась, а чтобы прекратить состояние адское. Когда солдат вместе с вражьем танком себя взрывает, то для него танк задача, а что сам под руку попал — так, издержки. Во дьявола как запутать могут — лишь бы человечью душу сцопать!

А хуже всего, что Вася через несколько лет проигрался в карты и повесился. Ещё случай был: в экспедиции мужик застрелился из-за бабьей измены. Говорят, красавица была беспримерная. А бабья красота, она как осок: на ветру шёлкова, а рукой задел и кровь потекла. Да... Ну, и вовсе дикая история — замечательный мальчишка, десятиклассник, красивый, сильный, остроумный повесился из-за несчастной любви. Прямо дома на вышке.

Кто от позора уходил, кто — от обиды. И всегда ночью или под утро — в самое одиночество. И это от людей через стену. А тут — одиночество на одиночество. А как боялся, что прах звери съедят! Ещё и не помещался, а втиснулся... Господи, да если б его мать увидела и вспомнила, какой он маленький был, молоко сосал... Какая была головёнка шёлковая, а какая теперь... оскаленная. Да... Хорошо Лавря хоть спит, бедный, весь форстерял.

Да. Ослаб человек. Такое навалилось, что не дай Господи. Но ведь и выход-то на ладони: раз навалилось, то и отвалилось бы. Маленько бы продержался, и если бы рядом кто живой оказался, то и обошлось бы! Иван точно знал: обошлось! И мелькнуло в голове: “От кому лет-то не хватило — не дождался нас!”, а потом как ожгло: “А может я не успел?”

Ивану стало легче, когда представил, как добирается до избушки в те минуты, когда человек на лабаз собрался. Но и тут пошли развилины. Хорошо, если спасибо скажет... И вспомнился случай, рассказанный костоправом, который Ивану “ставил хребёт”. Костоправ этот разминал человека, пять лет лежавшего после удара. Был он “выласт закоревший”, и костоправ мял-мял его, растягивал, разворачивал, как “запеклое бересто”, да так больно и трудно, что больной невзвидел разминщика, как лютото недруга. Но тот каким-то образом поднял недвижимого с лежанки и вот: чудо-дело, стоит колодина на ногах! Костоправ ему руку согнутую потянул, тот взърился, и в порыве ударил мучителя так, что тот повалился. И, поражённый вернувшимся сокодвижением, рухнул и стал костоправу ступни целовать.

Ну, уж тут как получится, главное успеть. И Иван представлял свой подъезд и подход к зимовьюшке по-разному: то на снегоходе подруливает, то на лодке: в речке-притоке вдруг вода небывалая... А то на лыжах подходит к избушке. Идёт себе идёт, и не дойдёт никак, началась тут прогалызина

большая, и вдруг тайга расступилась, постройки какие-то замаячили, и оказывается, уже не избушка приближается, а старая промхозная контора, к которой он идёт с каким-то мужиком. На плечах у каждого по мешку. И снег метёт, сухонький такой, предрождественский. И облака лёгонькие, задиристые... А идут они сдавать пушнину. Мужичок лицо всё отворачивает, прячет, и сам какой-то вымотанный, заунывный. “Ты чо такой смурый?” — “Да вот — до плана семь штук не добрал, теперь из промхоза попрут и участка лишат. А мне без тайги погибель”. — “Да, не дело. Понимаю. А план-то какой?” — “Шестьдесят соболей. А у меня полста три”. — “Вон чо. А у меня шестьдесят семь. Но раз такая история — на тебе семь соболей!” Иван развязывает мешок, и тот свой развязывает. У Ивана соболя вычесанные, пышные, лоснящиеся, а у мужичка до того слежалые, грустные, что неловко Ивану за свою пушнину. Берёт он семь соболей, протягивает. А тот говорит: “Только теперь за пушнину деньги *именные* дают”. — “Это как?!” — “А так. Есть именные соболиные лицензии, ну, для контроло за добычей и упорядочения сбыту. Но, сам знашь, охотнички народ мухлявый, и теперь за соболей дают деньги пофамильные — вот это Ивановы, а это Пименовы. Чтoб на чужие соболя никово не взять было — только на своя. Ну ты понял”. — “Понял, чо не понять. Но ты всё равно бери, не оскудею, поди, на семь хвостов-то”.

И мужичок забирает соболей, завязывает мешок и идёт в контору. А Иван стоит и думает: “Ведь как выходит: у ево полста три, а у меня шестьдесят семь, разница четырнадцать штук. Я ему семь ондал и мы сравнялися. Отбавка небольшая, а разрыв вон как надвоился! Как это?” И тут вдруг голос раздаётся: “Всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Как это? Тять... А тять?”

— Тя-ать! — повторил Лавр, откладывая Писание и света на отца льди-сто-пронзительным налобным фонарём.

— Ково тебе? — очнулся Иван, с трудом приходя в себя, морщась и закрываясь от яркого света. — Да уברי ты — ослепил!

Лавря выключил фонарь, и в глазах Ивана долго мерк зеленеющий след, да ворочалось свежевыврезанное на бревне над Лаврей: “Л Б 2003”. Потом стало совсем темно, лишь в поддувале дрожал рыжий огонёк и отвечивал на Стёшном спальнике. Тихо стояло.

— Тять!

— А! — отрывисто отозвался Иван.

— А он почему повешался?

— Почему... — Иван заскрипел нарами, — Мало чо бывает. Спи давай. Завтра путики искать пойдёте.

— А ноги-то? Ноги-то касалися... Сам говоришь... Упором-то... касалися. Как он так... удавился-то? Может, помогли?

— Помогли, ясно море! Дед наш, знашь, как говорил? Про самоубивцев... Что когда такое дело — дьявол тут как тут. На подхвате. Так поможет, что никакой упор не спасёт. Те и “помогли...” Спи давай. Завтра пойдёте, оченá будете делать — лысьте сразу. Чтoб не гнили.

— Тя-ять... — снова занудил-задомогался Лавр.

“От ить домогной!”:

— Ну чо тебе?

— А пошто мы-то не знали?

— Да кто щас чо знат! Тут этих экспедишников шарилось...

— Дак а чо не хватился никто?

Вдруг неожиданно бодро вступил Тимоха, тоже не спавший:

— А ты, Лавра, его бы и спросил! А то чо-то быстровато убрался.

— Да прыгнул-то красиво. Ему в десант наа! — хохотнув, добавил Стёпа. — Промысловик-десантник!

— А, тять? — не унимался домогной Лавря.

— Да кто искал кого, — отмяк голосом и Иван, — в развал такой? — И снова ркнул: — Спице давайте.

Ранным ещё тёмным утром Иван, переступая через сынов, крепко спящих в спальниках, открыл дверцу печки. Догорающий в её нутре огонёк



в фонарном свете обратился в перистый кубик пепла. Иван туго затолкал печку сухими еловыми поленьями и поджёг бересту. Береста занялась, скручиваясь и чадя. Иван закрыл дверцу, и глазки поддувала зашлись трепетно и ярко. Завыла тяга.

Иван вернулся к столу, прочитал молитвенное правило, быстро и сильно охлёстывая двуперстием вверх от ключицы на гребень плеча. Потом грел в сковородке гречку на сале.

Чайник давно кипел. Иван поднял сыновей, накормил и, не давая мешкать, отправил в тайгу работать — в мороз, снег, свет. Сам перекрестился и не спеша взялся за дело. Сложил раскиданные дрова, порылся на полках, под нарами. Скрутил Лаврин спальник, положил на нары “в голова”. Под спальником на досках подобрал измятый листок с дырочкой от гвоздя — половинку выцветшей бледно-зелёной тетрадной обложки. С одной стороны таблица умножения. С другой записка:

*Ребята, кто зайдёт в избушку очень большая просьба. Сходите на лабаз там сверху на мешках с продуктами есть небольшая чёрная сумка в ней в наружном боковом кармане записка для Вани Вагнера. Передайте записку ему очень прошу. (Приисковский, Норильская 23 кв 2, Вагнеру Ивану Берхардовичу). Правда на лабазе будет и удушливый то есть я. На мёртвых пучиться ненадо. Все мы раньше или позже всё равно умрём. Лучше конечно позже.*

Иван не торопясь оделся и полез на лабаз. Перерезал верёвку, на которой висели останки тела. Поддержал, чтобы оно не ударилось о настил. С сумкой вернулся в избушку.

*Здравствуй, Ваня!*

*Вот пришла пора и мне оставить этот мир. Немножко конечно грустовато. Но и жизнь для меня была нелёгкой. Были и хорошие моменты но я никогда не умел их сохранить. С этой идиотской заброской намучился неприведи господь бог никому такого. Лодка почти сразу потекла. Кое-как до Камдакана постоянно черпая воду дотянул а там у избушки набрал смолы. Заделал дырки. Через какое-то время опять потекло. Порог на пороге. За один только день прошёл 17 штук включая перекаты. Сколько было застревал на камнях посередине реки. Но всё как-то обходилось. Всё выбирался. К Хуричам подъехал где-то в конце июля. По дурусти стал подниматься по Хуричам. За 3 дня протащился 2 км. Потом день ходил смотреть до Чавидокона. Вся река сплошь одни камни. Там нетолько на лодке невозможно подняться. Там как говорится и на вертолёте над ней не пролететь. Думал продукты перетаскать 40 километров на себе. Но берега тоже завалены камнями а по лесу метровый мох. Решил подниматься по Ядроמו до подбазы сейсмиков. Ведь какая разница в каком месте кольца путиков находиться? Но время уже было упущено. Вода упала. На эти проклятые Хуричи потратил 8 дней. 3 дня поднимался 2 дня спускался назад. 1 день ходил смотреть и потом день ремонтировал лодку. На швах где листы жести соединялись все эти замазки отстали полностью. Стало как решето. Сверлил дырки, засовывал резину и приложив обод от бочки всё стянул болтами, а потом просмолил, но всё равно немножко пропускала воду. Третьего августа собрался до Баладжекита. Это в 6 км от устья Ядрома вниз. Там где-то км 2 ниже сплошные пороги и шивёры. Продукты выгрузил в избушке Сергея Бурцева, а лодкой решил проехать по порогам пустой, потом на себе перетаскать продукты, сложить и ехать дальше. И надо же буквально на последнем перекате подкинуло мотор через камень, потерял управление, лодку кинуло поперёк переката хлынула вода и лодку прибило к 2 камням — перевернута против течения ковшом как бы. Получилось как плотина. Тонны воды давят на лодку а она прижата к 2 камням спереди и сзади. И всё это посередине реки и посередине шиверы. Посередине реки потому что там был самый наилучший проход. Да и в жизнь никогда бы не подумал бы что здесь перевернусь. Такие водовороты прошёл что волоса дыбом становились. А здесь надо же так получить. Дальше уже широкий плёс и устье Ядрома. Сколько не мучился так ни лодку ни мотор не смог снять. Вода глубокая и течение сильное. Сделал плотик думал может на плотике подберусь. Куда там. Держусь за плот,*

сбивает течением, а плот переворачивает и вырывает из рук. 2 дня промучился толку никакого. Пришлось лодку бросить. Стал на Мойеро таскать продукты. Построил лабаз. Перевернулся 3 августа. 3 и 4 пытался снять с камней лодку. 5 пошёл на Мойеро. 6-7 строил лабаз. 8 шол на Баладжекит за первым грузом. 9 пошел уже назад на Мойеро. Думал перетаскать быстро. Получилось что ушел весь август. Туда и обратно получается 60 км. Теперь почти такое расстояние надо опять таскать до подбазы сейсмиков на что у меня уже нету не силы и не желания. И так ноги опухли как чурки в сапоги не зашихать. Да и приманку без собаки не набить. Птица и близко не подпускает. Поднимается и летит чёрт знает куда. Так что Тамара когда шутила что надо меня сфотографировать последний раз живого оказывается была права. Да и я тогда смеялся и мысль такая не приходила что так жизнь кончу. Сейчас через Неконгдокон ещё мог бы выбраться в Приисковый. Да там и Серёга Бурцев прилетит. Да а что дальше? Проситься к гравикам? Но сезон кончается и хрен возьмут. Или проситься в кочегарку кочегаром да и тоже своих хватает. Ехать куда-то ещё я уже не могу потому что денег уже ни копейки. Да и не к кому. Вот я и подумал зачем себя дальше мучить. Если я 53 года проживший на свете жизнь себе не устроил так я уже и не устрою. Зачем и себя мучить и людям надоедать. Что осталось патроны, ружьё, лыжи, валенки всё на Мойеро на лабазе. Конечно если остался жив бы потихоньку работал купил бы и мотор и всё остальное. Но я уже больше жить не в силах. Так что очень прошу тебя извини меня за причинённые тебе неприятности. Если надумаешь когда подниматься до участка на лодке то только в половодье по большой воде а иначе намучаешься не хуже мене. Ну кажитесь всё. Ещё раз простите меня и прощайте!

Леонид. 1996

Иван медленно поднялся, обулся, накинул азам и вышел из зимовья. Подошёл к берегу и прислонился к шершавому стволу лиственни. Была видна река в таёжных серых сопках и вдалеке квадратные горы. Нежно-меловые в рассветную розовинку, они стояли и прекрасные, и непоправимо другие.